

521
М. А. БАРГ

ПРОБЛЕМЫ
СОЦИАЛЬНОЙ
ИСТОРИИ

АКАДЕМИЯ НАУК СССР

ИНСТИТУТ ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ

352566

М. А. БАРГ

**ПРОБЛЕМЫ
СОЦИАЛЬНОЙ
ИСТОРИИ**

**В ОСВЕЩЕНИИ
СОВРЕМЕННОЙ
ЗАПАДНОЙ
МЕДИЕВИСТИКИ**

ИБ ПНУС

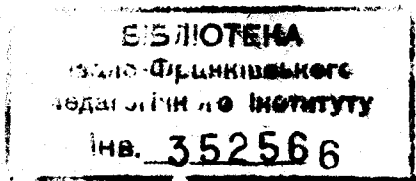
352566



ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»
Москва 1973

9(4)1
Б24

В книге анализируется современная буржуазная медиевистика, ее основные течения и их эволюция на протяжении послевоенного 25-летия. Автор рассматривает, как освещаются в западной историографии важнейшие проблемы феодализма: генезис строя, эволюция основных классов, так называемый «кризис феодализма». Особое внимание уделено методологическим вопросам, связанным с проблемой междисциплинарных связей, и прежде всего связей истории и социологии.



Б 0163-0360 67—73
042(02)-73

© Издательство «Наука», 1973 г.

ОТ АВТОРА

В течение ряда лет автор читал специальный курс: «Современная буржуазная медиевистика. Актуальные проблемы». Отдельные лекции курса публиковались в виде статей в научной периодике. Естественно, что в книге столь небольшого объема можно осветить лишь некоторые из историографических проблем современной медиевистики в Западной Европе и США. Однако выбраны они отнюдь не произвольно. Достаточно заметить, что по всем затронутым здесь вопросам в недавнем прошлом велись (и нередко продолжают по сей день) международные научные дискуссии. Думается, что уже одно это обстоятельство оправдывает особое внимание к указанным вопросам в работе, по сути дела посвященной текущему историографическому процессу.

В среде историков все более распространяется мнение — и с ним нельзя не согласиться, — что историографический анализ какой-либо проблемы необходимо должен включать не только критическое рассмотрение посвященных ей трудов, но и элемент самостоятельной проработки историографом того же материала источников, на котором основаны анализируемые работы. Естественно, что при современной специализации — если отвлечься от целей чисто учебных — это означает, что наиболее желательный вид историографии — историография проблемная, т. е. не только построенная по проблемному принципу, но и выполненная специалистом в данной области исследования. В заключение остается подчеркнуть, что рассматриваемые здесь труды относятся в основном к периоду 1940—1965 гг., и лишь в отдельных случаях выходят за рамки этого периода.

Академик С. Д. Сказкин дал автору немало ценных советов еще на стадии подготовки отдельных лекций к публикации в виде статей. Его замечания учтены в данном издании. Этим советам автор обязан больше, чем может здесь выразить.

Докторам исторических наук А. С. Кану, Е. Б. Черняку и А. Н. Чистозвонову автор искренне благодарен за ознакомление с настоящей работой в рукописи и за сделанные ими критические замечания.

ВВЕДЕНИЕ. БОРЬБА ТЕНДЕНЦИЙ В СОВРЕМЕННОЙ БУРЖУАЗНОЙ ИСТОРИОГРАФИИ

(Вопросы метода)

В происходящей в сегодняшнем мире ожесточенной идеологической схватке историография является не только свидетельницей, но и активной участницей борьбы. На свойственном ей языке и с помощью специфических для нее познавательных средств она сражается по обе стороны баррикады. Однако для того, чтобы марксистская историография могла «вести свою линию и бороться со *всея линией* враждебных нам сил и классов»¹, ей следует пристально наблюдать за сдвигами, происходящими время от времени в теоретико-познавательных основаниях современного буржуазного историзма, за столкновениями весьма противоречивых тенденций в его среде, тенденций, по своему отражающих всю сложность объективно-исторического процесса наших дней.

Иными словами, перед нами та область исторического знания, которая находится на стыке по крайней мере трех дисциплин: истории исторической науки, теории исторического познания и социологии. Эту область, особенно актуальную для научной ориентации в историографическом процессе, можно было бы назвать теоретической историографией, но дело не в названии. Важно лишь то, что именно она открывает путь к действительно научному объяснению — а не только фиксированию и чисто внешнему суммированию — тех на первый взгляд хаотических и противоречивых явлений в выборе и постановке исследовательских проблем, в отборе и методиках препарирования источников, наконец, в явных или скрытых философско-исторических концепциях, которыми направляются и вдохновляются все сколько-нибудь крупные исторические труды. Теоретическая историография как

специальная область исследования оправдана, разумеется, лишь при одном условии, — если выявление регулирующих указанный процесс закономерностей признается ее первоочередной задачей. Цель настоящего введения весьма ограничена: она заключается в том, чтобы попытаться проанализировать развернувшуюся в начале 60-х годов в Западной Европе и США дискуссию об отношениях между историей и социологией и рассмотреть важнейшие теоретико-познавательные тенденции, которые наметились в ходе этой все еще продолжающейся дискуссии².

Однако сначала следует хотя бы вкратце сказать о факторах, которыми обусловлены отчетливо наблюдаемые сдвиги в методологической ориентации современной буржуазной историографии. Прежде всего это новый всемирно-исторический опыт, мимо которого не могут пройти объективно мыслящие историки. Вторая мировая война и история послевоенного двадцатипятилетия неизбежно должны были привести к переоценке многих звеньев в той системе ценностей, которая столь долго определяла историческое видение, само мышление этих историков.

С другой стороны, нельзя не сказать о несомненном влиянии, которое оказывает на академическую буржуазную историографию марксистская теория исторического познания, марксистская — и прежде всего советская — историография в частности. Конечно, заимствуя отдельные и разрозненные элементы чуждой им методологии, буржуазные историки в общем и целом остаются на почве идеалистического историзма; тем не менее внутри него нельзя не различать тенденции прогрессивные и тенденции по своей направленности откровенно реакционные.

Наконец, далеко не безразличным для историографии является и опыт, извлекаемый из новейшей истории науки в широком смысле слова. Поразившие воображение современников успехи естественных наук не могли не сказаться на подходе к общим вопросам методологии и логики науки значительной части современных буржуазных историков.

Едва ли даже далекий от марксизма, но просто добросовестный профессиональный историк стал бы оспаривать то положение, что теоретический фундамент, на котором долгие десятилетия зижделась буржуазная историография, а именно — наследие Дильтея, Виндельбанда и Риккерта, лежит ныне в развалинах. Опыт самой исто-

риографии XX в., опыт смежных с нею общественных наук самым недвусмысленным образом опроверг дильтеевскую и риккертианскую концепции исторического знания, как находящиеся в полном противоречии с общим направлением развития науки и исторической науки в частности. Ориентация исследователя на познание единичного (при условии, что под таковым имеются в виду явления событийного ряда истории) вместо общего, случайного вместо необходимого, на прошлое описание вместо научного анализа, на отнесение к «ценностям» вместо количественных и качественных измерений, на погоню за «неповторимым» вместо типологической процедуры — эта ориентация себя изжила и если и встречается в современной методологии, то это звучит, даже по признанию историков, далеких от марксизма, как «дикий анахронизм».

О «кризисе оснований» традиционной на Западе «идиографической (т. е. индивидуализирующей) историографии заговорили во всеуслышание в 50—60-х годах такие авторитеты современной буржуазной историографии, как Ф. Бродель³ во Франции, Г. Барраклоу⁴ в Англии, Д. Поттер⁵ в США, такие социологи и методологи, как О. Андерле⁶ в ФРГ, П. Лебрюн⁷ в Бельгии, В. Канман и А. Босков⁸ в США и многие другие. Справедливо ради следует заметить, что о «кризисе историзма» на Западе впервые заговорили не сегодня и не вчера, а еще в конце XIX в. в ходе методологической дискуссии между приверженцами традиций Ранке, с одной стороны, и адептами позитивизма — с другой⁹. Вторично та же ситуация была отмечена в 20-х — начале 30-х годов нашего столетия¹⁰. Однако если в первом случае речь шла о кризисе объективно-идеалистических и провиденциалистских установок в историографии, то во втором случае уже имелся в виду кризис историографии, основывавшейся на классическом позитивизме XIX в. и рассматривавшей социальную эволюцию и ее факторы чисто натуралистически. В те годы, когда главная идеологическая установка германской буржуазии заключалась в преодолении «духа пессимизма и апатии», верно служившая ей историография избрала в качестве своего оружия именно методологию неокантианства, несколько подновленную идеями Ницше и Шпенглера¹¹.

В наши дни имеет место третья фаза кризиса буржуазного историзма, проявляющаяся в широко распростра-

ненном разочаровании в «методологическом наследии» неокантианства и все более явном осознании необходимости методологической переориентации историографии, конечно же, в рамках идеализма. И в этом объяснение нового «мятежа». Как уже отмечалось, поиски нового метода, нового видения истории — и как объективного процесса, и как науки, его изучающей, — ставшие столь настоятельными в послевоенной историографии Запада, имеют весьма ограниченные пределы¹². Весь интерес этих поисков заключается, во-первых, в том, как аргументируется их необходимость, а во-вторых, в том направлении, в котором они ведутся.

Итак, отправным пунктом предстоящего анализа является признание того, что историографическая по своим установкам историография находится в состоянии глубокого кризиса.

В самом деле, при всей пестроте суждений, встречающихся в западноевропейской и американской литературе, нельзя не уловить по крайней мере одну, явно преобладающую в ней мысль: былое положение «блестящей изоляции» исторической науки, гордой своей древней и устоявшейся традицией и равнодушно взиравшей на «поиски метода», имевшей место в неизмеримо более молодой поросли общественных наук, ее окружавших, безвозвратно для нее миновало. И служители музы Клио, серьезно обеспокоенные судьбами своей науки, вынуждены более внимательно присматриваться и прислушиваться к тому, что происходит в среде смежных с ней «наук о человеке», а зачастую — далеко за их пределами¹³.

Три факта из новейшей истории «социальных наук» особенно содействовали распространению критических взглядов на современное состояние историографии: успехи лингвистики, развитие так называемой культурантропологии, и, наконец, появление историко-социологических исследований. Внедрение в «науки о человеке» количественных методов, введение категории пространства в области, где до тех пор господствовал линейный эволюционизм, всколыхнули молодое поколение историков и привели в смятение столпы традиционной гуманистики. «Поверьте мне, — обращался к своей аудитории американский историк К. Вэн Вудворд, — я боюсь абстракций, равно как и безапелляционных заключений относительно проблем темных и непроницаемых... Но я вынужден предуп-

редить моих коллег-историков, что их гуманистическая антипатия к количественным методам не приведет к исчезновению последних. Из этого следует исходить»¹⁴.

Аналогичное убеждение преобладает в современной буржуазной историографии и в отношении всех других исследовательских методов, заимствованных в последние годы исторической наукой из арсенала ее младших сестер (в том числе эконометрики, психологии и др.), причем независимо от того, рассматриваются ли эти сдвиги на ниве исторического исследования как благо или только как неизбежное зло. Так, даже такой известный своей приверженностью к «традиционной гуманистике» западногерманский историк и методолог, как Т. Шидер, был недавно вынужден признать, что историческая наука уже невозможна без заимствованных у социальных наук «понятийных инструментов», необходимых для анализа социальных явлений¹⁵. Различия во мнениях, еще разделяющие современную буржуазную историографию на отдельные направления, могут быть сведены к трем пунктам: 1) чем вызван этот очевидный поворот историографии в сторону социологических методов — недостаточностью, научным банкротством методики «индивидуализирующей историографии» или только «изменившимся умонастроением», «вкусом», «модой» и т. п.; 2) каков объем и характер допустимых заимствований «чужеродных» гуманистических методик, в частности социологии; 3) как соотносятся эти новые методики с традиционным «историческим методом». Изучение литературы вопроса приводит к заключению, что именно ответы на только что указанные вопросы и определяют методологические направления современной буржуазной историографии. Рассмотрим эти ответы подробнее.

Центрами движения за «обновление» исторической науки с помощью методов современных «социальных наук» — по различным причинам и с различной научной ориентацией — оказались Франция и США. Во Франции «социологическое направление» в историографии имеет давние корни, восходящие к школе «исторического синтеза», сложившейся еще в начале нашего столетия под влиянием Анри Берра¹⁶. В 20-х и 30-х годах это направление получило новый импульс под влиянием Марка Блока¹⁷ и Люсьена Февра¹⁸. Основанная ими историческая школа «Анналов» за истекшее полувековье не только стала господствующим направлением во французской историогра-

фии, но и содействовала кристаллизации близких к ней направлений в национальных историографиях других стран Запада.

Отправным принципом этой школы является стремление к комплексности исторического исследования, объемности и многоплановости исторического видения. Из этого вытекает, во-первых, что традиционные сюжеты буржуазной исторической науки (политика, право, политические институты, духовная культура) должны быть дополнены и такими аспектами общественной жизни, как материальное производство и естественная среда, народонаселение и миграции, хозяйственный оборот и социальная структура. Во-вторых: независимо от того, каким сюжетом занимается историк, он должен постоянно помнить об эшелонировании исторического процесса «в глубину». Отсюда требование — осознать сложность, обусловленность любого аспекта истории, любой исторической проблемы. В истории, неоднократно подчеркивал Блок, нет простых и односложных явлений. Каждое явление имеет много граней и связей, только в совокупности раскрывающих его суть. Наконец, в-третьих, поскольку общественные институты отнюдь не совпадают с государственными границами, первостепенную важность в изучении истории приобретает сравнительно-исторический метод, который один только позволяет судить о степени общности или, наоборот, неповторимости того или иного явления¹⁹.

Эти отправные установки школы «Анналов» современной ее глава Ф. Бродель сжато выразил следующим образом: «Для меня история — это сумма всех возможных историй, всех подходов и точек зрения». Отсюда — практический вывод: необходимо объединить усилия специалистов в разных областях социально-исторического познания. «После долгих лет, — отмечал тот же Бродель, — в течение которых мы следили за их (т. е. специалистов в области социальных наук. — М. Б.) работами и исследованиями, подтягивались к ним или просто контактировали с ними, перед исторической наукой зажегся огонь надежды — нового дня». И далее: «История нового типа (т. е. социологического направления прежде всего. — М. Б.) внимательно следит за всеми науками о человеке. Именно это делает границы истории такими расплывчатыми и интересны историка такими широкими. Итак, не устанавливайте между историками и специалистами в области социальных

наук... барьеров и различий... Все науки о человеке, включая историю, взаимосвязаны. Они свидетельствуют, что по крайней мере могут говорить на одном языке»²⁰. Таково «Кredo» современной школы «Анналов», и ей, очевидно, нельзя отказать в убежденности и последовательности. Что же касается содержательной стороны этой тенденции, то о ней речь впереди.

Барьеры между «науками о человеке» и в особенности «между историей и социологией, штурмуются в последние годы не менее упорно и по другую сторону Атлантики. Разница заключается, правда, в том, что ведущая роль в этом «штурме средостений» в США принадлежит не историографии, а социологии. Социологи в специальных изданиях и на своих конгрессах не устают убеждать историков в необходимости, плодотворности и даже неотвратимости «кооперации» усилий. Значительная же часть современных историков США (в особенности старшего и среднего поколения) со своей стороны продолжает «присматриваться» и при этом высказывает немало скептических замечаний о методах американской эмпирической социологии. Отдельные же историки вообще решительно возражают против всякого сближения — по методу — истории с социологией (с таких именно позиций выступил на XIII Международном конгрессе исторических наук в Москве в 1970 г. американский историк Дж. Хекстер).

Иначе говоря, расстановка сил во Франции и США прямо противоположна: в первом случае активной, инициативной стороной в диалоге между историей и социологией являются историки, во втором — инициатива исходит из среды социологов. Чтобы в этом убедиться, достаточно сопоставить два суждения о положении вещей в американской гуманистике. Вот мнение социолога о том, в каком направлении движется современная социология в США: «Современная социология стремится найти среднюю линию между Сциллой жестких обобщений и Харибдой чистого эмпиризма. В течение двух последних десятилетий более широкое и более тонкое использование сравнительного материала и типологических схем направляло энергию многих исследователей на осуществление работ, одновременно являющихся социологическими по своей ориентации и историческими по своему характеру»²¹. Однако ничего подобного не могут сказать историки о положении вещей в американской историографии. Если ис-

ключить немногочисленных историков, группирующихся вокруг журнала «Comparative Studies in Society and History», и еще меньшее число приверженцев так называемой школы «новой экономической истории», то типичным для умонастроений американских историков следует считать предубеждение, будто уже сам по себе «факт письменного изложения своих идей равнозначен для историка акту самопохорон». По мнению того же автора, историки, выступающие за незыблемость традиции, сохраняют перед лицом «агрессивности» социологии «торжественность и величие обреченных». Наконец, даже более гибкая часть профессиональных историков проявляет «защитительную отчужденность»²².

На вопрос, почему в США, где еще со времен Бирда и Тернера существует влиятельная и общепризнанная социологическая традиция, сложилась такая расстановка сил, ответить не так-то легко. И хотя подробный анализ причин этого примечательного факта потребовал бы самостоятельного труда, мы не можем, пусть сугубо предварительно, не обратить внимания на некоторые обстоятельства. Не является ли приверженность значительной (точнее — преобладающей) части американских историков к «традиции» своего рода профессиональной защитной реакцией против явной угрозы быть поглощенными и обезличенными не знающей пределов в своей экспансии социологией. С другой стороны, традиции, перенесенные на новую почву, как известно, как бы переживают «вторую молодость» и держатся гораздо дольше, чем на почве, где они сложились. Так произошло, в частности, с традициями индивидуализирующей историографии. Что же касается американской эмпирической социологии, то ее обращение к историзму является самым откровенным признанием того тупика, в который ее завела абсолютизация структурно-функционального метода²³. Не случайно состояние этой социологии не вдохновляет историков на «кооперацию»²⁴.

В привлечшем наше внимание факте проявляется, наконец, еще одна любопытная деталь: американская социология в значительной мере перехватила у историографии ее былую идеологическую и мировоззренческую функцию в обществе, чем, несомненно, «обесценила» ее в «общественном мнении». Как бы пытаюсь компенсировать этот урон, историки стремятся сохранить в чистом виде свой

метод, как свидетельство их «верности» гуманистике «доброе старого времени».

Так или иначе, эмпирическая социология занимает в американском обществознании такое же ведущее место, какое принадлежит историографии во французском обществознании. Известно, что, стремясь продемонстрировать универсальность своих методов в области социального познания, эмпирическая социология не останавливается перед границами историографии, вторгаясь «в прошлое», т. е. в области традиционно-исторического исследования²⁵. Это усилило озабоченность многих социологов статичностью функциональной картины мира. В союзе с историей они ищут способов преодоления недостатков функционализма, т. е. способов изучения механизма социальных изменений. И чем больше проявляется разочарование в универсальности «методов эмпирической социологии», тем больше растет престиж исторической точки зрения среди социологов²⁶.

Что же касается современной американской историографии, то перед лицом угрозы полного возобладания социологии в обществознании — при условии, что многие пороки ее методов хорошо видны даже с позиций идеалистического историзма, — в ней происходит глубокое размежевание. Одни историки — их меньшинство — готовы вообще перейти в чужую веру, т. е. ценой отречения от исторического взгляда на мир превратиться в «исторических социологов», «антропологов», «психоаналитиков» и т. п. Другие же — их большинство — занимают критическую позицию, т. е. согласны идти на сближение с «социальными науками», но только до определенной грани, считая, что задачи и цели исторического исследования по-прежнему остаются глубоко отличными от задач и целей социологии. Первые решительно ориентируются на математизацию исторического исследования, вторые отстаивают не менее убежденно индивидуализирующий метод оппозитивной историографии²⁷.

Как бы мы ни оценивали конкретные условия, в которых ныне оказалась та или иная национальная историография, одно не подлежит сомнению: ведущей тенденцией в современном буржуазном историзме в целом является стремление отряхнуть прах неокантианства, обратившись к междисциплинарным связям как некоей замене целевой методологии, которой он лишен. Многократно ис-

пытанное разочарование в широковетельных «общих» и «специальных» методологиях истории привело к тому, что современная буржуазная историография проявляет явное безразличие к теории познания вообще и исторического познания в особенности. Она написала на своем знамени: «Метод — вот в чем нуждается историк» (как будто метод нейтрален к теории, не «отягощен» теорией, не «подказан» ею). Этот своего рода методологический прагматизм и вылился в тенденцию к сотрудничеству истории с другими «науками о человеке». Так или иначе — перед нами знаменательный факт: значительная часть историков Запада ведет интенсивный поиск метода на путях междисциплинарных связей.

Очевидно, что в основе этой тенденции лежит убеждение, что для объяснения «дел человеческих» равно важно знание всего, что может бросить свет на «общественного человека»: характер его потребностей и способ их удовлетворения, его поведение и способ его объяснения и т. д. и т. п. Нетрудно убедиться, что под понятием «комплексности» подхода в данном случае скрывается весьма вульгарная мультифакторная концепция исторического процесса, в которой все важное и второстепенное, непосредственное и опосредствованное, поверхностное и глубинное — все расценивается как «равно важное». Оценивая понятие абстрактного человека (хотя и наделенного материальными и психологическими чертами определенной эпохи и ареала), идеалистический историзм остается верным себе: он продолжает игнорировать классовый подход при анализе общественных явлений²⁸.

Итак, стремление вооружить историю логико-методологическими средствами современных гуманитарных (и нередко — естественных) наук должно рассматриваться с двух сторон — и как отход от принципов индивидуализирующей методологии истории (что, несомненно, представляет собой явление положительное), и как отрешение от специфических познавательных задач исторической науки и ставящей эти задачи научной теории исторического познания (что должно, безусловно, рассматриваться как проявление кризиса буржуазного историзма). Внутренняя противоречивость этой тенденции вырисовывается достаточно ясно.

Как же сами участники анализируемой методологической дискуссии объясняют только что охарактеризованный

поворот западной историографии от традиционного историзма к современной гуманистике (и прежде всего — к социологии)?

Известный английский историк Барраклоу видит главную причину в отставании исторической науки, основанной на этом методе, от запросов времени — отставании теоретическом, логическом и методологическом. «История, — заключает он, — все еще находится на донаучном уровне познания». Причина этого отставания — в гальванизации отживших философско-исторических концепций, проблем, приемов. В то время, продолжает Барраклоу, как неокантианство давно вышло из моды в области философии, историки продолжают рассматривать его как «самоновейшую» теорию и методологию исторического познания. И как вывод: приближение истории к науке — не говоря уже о превращении истории в науку — невозможно без освобождения от пут неокантианства²⁹.

Приблизительно такой же ответ на поставленный выше вопрос дает и Ф. Бродель. «Наука о человеке, — отмечает он, — переживает сейчас общий кризис. Все они (науки. — М. Б.) тяжело обременены фактом своего собственного прогресса». В качестве толчка к пересмотру «традиционного метода» в историографии послужили, по его мнению, успехи социальных наук, таких, как лингвистика, антропология, экономика и др. Эти успехи открыли многим глаза на отставание методики исторического исследования. Пробуждение от многолетней самоуспокоенности проявилось в постепенном освобождении историков от «коварной концепции гуманитарного знания» (т. е. от неокантианства). Накопление громадного фактического материала поставило общественные науки перед задачей синтеза. Каждая из этих наук, продолжает Бродель, более или менее осознанно задает себе один и тот же вопрос: каково ее место? — и тем самым: как соотносится в ней синтетическое и специфическое определения объекта изучения?³⁰

Очень близкое суждение высказал английский историк Д. Пламб. Научно-техническая революция, проникновение естествознания во все сферы жизни, потрясения второй мировой войны — все это, подчеркивает он, поколебало веру в способность общественных наук адекватно отражать действительность. Эти науки превратились в окаменелость и утратили соприкосновение с жизнью. В резуль-

тате историк оказался перед дилеммой: либо слепо держаться своих традиционных позиций, делая вид, что функции его науки остались неизменными, либо он должен изменить облик своей науки, приспособив ее к запросам общества³¹.

Что же касается мнений большинства участников дискуссии по данному вопросу в ФРГ, то в «кризисе гуманистики» они склонны винить все что угодно: и засилье технологии, и естествознание, и «возобладание материалистического духа», и «моду на социологию, отодвинувшую историю на задний план», но только не методологические основания традиционной гуманистики³². Так, по мнению уже упоминавшегося Т. Шидера, методология — всего лишь функция времени, его запросов, диктата, одним словом, это — «мода», которой нужно отдать дань³³. Очевидно, что в этом заключении разорвана связь между методом и предметом, иначе пришлось бы признать, что идиографический метод не отвечал самому предмету исторической науки. Но именно этого не хотелось ему делать! Историзм «пал жертвой» внешних обстоятельств, а не внутренних пороков — такова квинтэссенция рассуждений Шидера. Историзм XIX в., пишет он, основывал свое научное самосознание на методологической независимости от естественнонаучных методов и получил «всеобщее признание» (!) как раз потому, что его теория исторической индивидуальности была созвучна времени³⁴. Но это равносильно отрицанию истории как науки, обусловленности ее методов прежде всего ее предметом, познавательными задачами, ее внутренним развитием. Если уж говорить о власти времени, то она прежде всего распространяется на проблематику исследования, на его цель. Но в таком случае куда правомернее было бы заключить, что «индивидуализирующий метод» полностью раскрыл свою несостоятельность в связи с тем, что наступил период, когда даже перед буржуазной историографией возникла задача перейти на другой, более глубокий уровень исторического познания. Общая же ситуация в системе современных наук в целом, попросту говоря, превратила этот «метод» в анахронизм³⁵.

Итак, вместо того, чтобы превратить острое недовольство положением истории в современном обществознании в энергию, направленную на самокритику традиционного историзма, на пересмотр его явно обветшалого методоло-

гического основания, господствующее направление в западногерманской историографии занялось «штопаньем прорех». Очевидно, что для этого направления научная функция историографии отступает на задний план перед функцией мировоззренческой, поскольку именно последней наиболее соответствует «традиционный метод».

* * *

Три четко определившиеся точки зрения относительно путей выхода из общепризнанного кризиса «традиционной» гуманистики можно считать характерными для современного буржуазного историзма. Одна из них представлена школой «Анналов», призывающей к немедленной перестройке исторической науки. Под этим, как мы видели, Ф. Бродель имеет в виду линию на интеграцию — по методу — истории и социальных наук. Что же касается философии истории, то Бродель придает ей, по-видимому, не очень большое значение. «Всякая философия истории хороша, — пишет он, — лишь бы она не исключала ни одну другую»³⁶. В чем историческая наука, по мнению Броделя, действительно нуждается, так это в пересмотре того, что должно являться ее предметом. Другими словами, стóит историографии по-новому увидеть свой предмет, и половина ее бед исчезнет сама собой; вторая же половина исчезнет благодаря объединению усилий всех «наук о человеке». Но позволительно спросить: на какой методологической основе должно произойти это объединение, или эта основа не так уж важна при определении существенных сторон предмета? Бродель этот вопрос вынес за скобки. Традиционная история, по его словам, — история событийная, и поскольку она обращает внимание почти исключительно на короткие промежутки времени, в поле ее зрения оказывается индивидуальное событие. Однако это только один из возможных способов расчленения исторического времени, но отнюдь не единственный. Существует множество масштабов исторического времени, которые олицетворяются в «событиях» различной длительности: от коротких (почти мгновенных) промежутков, вычленяемых политической историей, до циклов десятилетних, двадцатилетних, пятидесятилетних, вековых, вычленяемых историей социальной и экономической.

Итак, время — важнейший масштаб исторического объекта. «Мгновение» и «большая» (вековая) длительность, почти неподвижность — таковы градации исторического времени (а значит — и типов исторических объектов). Бродель подчеркивает онтологический, т. е. объективный, характер этих «отрезков различной длительности», поскольку в них отражена диалектика живого времени. История на различных глубинах течет с различной быстротой — вот идея, подчеркивает Бродель, совершенно чуждая «индивидуализирующей» историографии. Событие, разумеется, не обязательно тождественно мгновению, хотя чаще всего с ним идентифицируется. Но даже в таком ограниченном понимании событие может свидетельствовать о течении циклов гораздо большей длительности. Только на первый взгляд история заполнена массой мелких, кратковременных фактов, которые представляют интерес для хроникера-журналиста, но в таком понимании время не охватывает всей действительности. Именно поэтому традиционная историография проходила мимо огромной толщи этой действительности. Вместе с тем сказанное не означает, что история «событийная» (отождествляемая с историей политической) должна оставаться историей «кратковременных событий». Чтобы стать современной, она должна саму кратковременность разрабатывать в хронологических масштабах различной длительности³⁷. Таково, вкратце, новое видение исторического объекта, предложенное Броделем.

Нельзя, разумеется, не признать научной плодотворности концепции «большой длительности». Благодаря ей предмет исторической науки приобретает многомерность, каждое явление — скрытую за поверхностью глубину. Но не случится ли непредвиденное: предмет истории может потерять свою смысловую, т. е. объективную, целостность, выступить как простая совокупность различной частоты «ритмов», ибо в концепции Броделя нет ни малейшего указания на то, что их связывает, на единство, которое в каждом из них выражено особым «кодом». И далее, если наиболее глубинные, т. е. сущностные, слои предмета исторической науки — это ритмы наибольшей длительности, т. е., попросту говоря, неподвижность, то не оказываемся ли мы перед парадоксом: предмет научной истории — неисторичен. Так или иначе, концепция «большой длительности» — это, насколько известно, первая

попытка анализа историком структуры исторического времени и как один из аспектов исторического метода является вкладом в историческое мышление. Надо лишь остерегаться опасности принять грань (параметр) предмета и метода за целое. Суть проблемы — во взаимосвязи ритмов.

Прежде чем перейти к рассмотрению других направлений в современной буржуазной историографии, следует, хотя бы вкратце, остановиться на понятии «структура», которое привлекло столь пристальное внимание Броделя. Как историк он попытался, и это вполне естественно, перевести его на язык своего предмета. В результате оно предстало перед ним как «архитектура явления», устойчивая и медленно меняющаяся. Структуры различаются по степени устойчивости. Но все они в одно и то же время являются как опорой, так и препятствием историческому движению. Человек — пленник исторических структур. «Аристотелевская картина мира господствовала вплоть до Галилея, Декарта и Ньютона». Еще более устойчивы структуры, создающиеся географическими, естественными и т. п. условиями жизни. И хотя экономические структуры вычлениются труднее всего, тем не менее XIV — XVIII вв., по мнению Броделя, обнаруживают черты такого единства, т. е. связанной и устойчивой структуры, разрушенной только промышленной революцией. «Принять такой ракурс» исторического видения равносильно, по мысли Броделя, готовности историка принять новую концепцию социального. «Это значило бы привыкнуть ко времени, текущему... настолько медленно, что оно кажется почти неподвижным. Историю в целом можно понять только из этой неподвижности»³⁸.

Спорность данного заключения лежит на поверхности, ибо суть исторического исследования заключается в том, чтобы открыть законы движения и изменения социальной структуры, другими словами, чтобы открыть те связи и переходы, которые, с одной стороны, позволяют в самой «длительности» увидеть базовый источник всех форм прерывности, а с другой стороны, в структурах наиболее подвижных и переходящих — условие изменений, «прерывности» и в истории структур большой длительности. Итак, до тех пор, пока речь идет о раскрытии объективной сложности категории исторического времени, концепция Броделя представляется весьма убедительной и многообе-

щающей. Однако она оставляет историка «наедине с самим собой» перед главной трудностью — задачей представить структуры различной временной длительности как динамическую целостность, процесс взаимодействия в непрерывной цепи изменений. Ведь именно на этом рубеже концепция исторического времени, предложенная Броделем, проходит проверку на историзм, именно здесь раскрывается опасность «рядоположения» структур вместо их диалектического сочленения. Вместе с тем как реакция на описательность «традиционной школы» (знавшей по сути только один масштаб времени — «длительность» события) со стороны историка, в общем далекого от марксизма, концепция Броделя представляет, несомненно, важный опыт познавательной ориентации одного из направлений современного идеалистического историзма, который с необходимостью подводит вплотную к проблеме исторического закона.

Как уже отмечалось, в США программу преодоления «кризиса гуманистики» составили не историки, а социологи. Это обстоятельство, довольно точно отразившее место исторической науки в иерархии «социальных наук» США, определило специфику и направление, в котором развивалась за океаном интересующая нас дискуссия. Основная ее особенность заключалась в выдвигении на первый план вопросов (который, кстати, в концепции Броделя не нашел никакого отражения): нуждается ли историческая наука в осознанной (эксплицитной) теории, допускает ли так называемый исторический метод концептуализацию данных источника, какова «допустимая» форма исторического обобщения? Хотя сама по себе постановка этих вопросов лучше и красноречивее многих объемистых трактатов показывает, на каком уровне находится современная американская (и не только американская) буржуазная историография, вместе с тем в них нельзя не видеть свидетельства происходящего в ней сдвига, несомненно внутреннего брожения и недовольства хотя бы части историков нынешним положением вещей в науке, которой они субъективно преданы.

Сочетание в этой науке «традиций» так называемой «научной», т. е. объективистской, истории (в духе Ранке)³⁹, релятивизма, воспитанного философией неопозитивизма и, наконец, прагматизма не смогло не сказаться на основных направлениях, в которых развивались суж-

дения профессиональных историков по указанным выше вопросам. Предмет дискуссии отчетливее других сформулировал известный историк И. Хейзинга⁴⁰: «Должны ли историки стремиться к познанию особенного или общего, конкретного или абстрактного, уникального или повторяющегося? Должно ли историческое знание быть выражено в графах или в понятиях? Является ли целью исторического метода анализ или синтез?». Нас не может, разумеется, удивить то, что Хейзинга увидел формально-логическое противоречие там, где существует лишь противоречие диалектическое; поучительно другое — то, что им довольно точно указаны полярности, между которыми движется современная буржуазная методология истории. Например, «полюс», олицетворяющий «наследие Ранке», убежденно защищал на годичном собрании Американской исторической ассоциации в 1962 г. историк К. Брайденбо. Прежде всего он резко восстал против призыва идти на сближение с социальными науками (т. е. антропологией, психологией, социологией и др.). Методы этих наук, подчеркивал Брайденбо, дегуманизированы. Им недостает понимания человека. Особенно это относится к социологии. Социолог имеет дело с «единицами отсчета», «тенденциями», из которых он стремится вывести «законы общества». Историк же рассматривает факты как уникальные и неповторимые (!), и это удерживает его от попыток укладывать их в готовые рамки. Дело историка рассказать историю, оставляя теорию другим⁴¹.

Если, с одной стороны, трудно поверить, что все это говорилось в 60-х годах нашего столетия, то, с другой стороны, этой позиции нельзя отказать в последовательности. И следует заметить, что в современной американской историографии так думает не один Брайденбо — он представляет довольно многочисленный отряд профессиональных историков США. И это не удивительно: подобную позицию может в равной мере разделять и объективист, и релятивист, и приверженец прагматизма. Первому теория не нужна по той простой причине, что он полагается полностью на «исторический метод», который исходит из посылки, что истина заключена в готовом виде в источниках; для того же, чтобы ее из них извлечь, нужна не теория, а техника — критика источника. По мнению же релятивиста, объективной истины в исторической науке — по самой ее природе — нет и быть не мо-

жет. Исторические построения во всех случаях субъективны. Но если это так, то всякая теория и обещаемые ею объективные методы — только дань времени, отмеченному поразительным взлетом точных наук. Наконец, историк-прагматик — убежденный враг всякой явной теории, в которой он усматривает «барьер» на пути к «пониманию свидетельств источника». Он предпочитает «не иметь никаких убеждений» из-за опасений, что они легко могут превратиться в предубеждения.

Некую среднюю позицию в ходе занимающей нас дискуссии попытался сформулировать историк А. Шлезингер (младший)⁴². Он не склонен отрицать плодотворность методов эмпирической социологии. Его только беспокоят ее притязания на то, чтобы рассматривать свои методы как единственно научные. Шлезингер же полагает, что к истине ведет множество путей, среди которых методы социологии — лишь один из них. Приблизительно такую же точку зрения, хотя и из других побуждений, высказал К. Поппер⁴³. Методы социальных наук, утверждал он, применимы скорее для объяснения механизма процессов, а не тенденций (т. е. направлений развития). Ими следует пользоваться для ответа на вопрос «почему?». Они правомерны при формулировках номиналистского характера (т. е. для описания, классификации, анализа материала), но недопустимы при научном формулировании законов. В этом случае социологические методы угрожают «лишить историографию свободы». К такой в целом позиции близки многие видные американские историки (Дж. Хекстер, Т. Кокрен, Р. Палмер и др.). Вообще самое понятие «исторического закона» остается пугалом для абсолютного большинства участников дискуссии по ту сторону океана. Нет ничего более компрометирующего доброе имя историка в их глазах, нежели открытое признание им своей приверженности к идее исторической закономерности. По-видимому, в качестве своего рода противоядия против ее распространения в последующее время было пущено в ход понятие «закона неопределенности» как единственного и основного закона истории⁴⁴.

Наряду с этим, как уже отмечалось, в американской историографии существует и влиятельная социологическая традиция, связанная с именами Бирда и Тэрнера. Д. Тэрнер еще в начале нашего века писал, что «сколь-ко-нибудь удовлетворительное понимание истории амери-

канского народа невозможно, если не привлекать на помощь многие науки и методы, до сих пор слабо использованные в американской историографии»⁴⁵. В последние годы убеждение в справедливости этих слов настолько распространилось на Западе, что историк П. Лэслитт, радуется, преувеличивая, заявил: историки учатся у социологов, они становятся социологическими историками⁴⁶. Во что это выливается на деле, мы увидим несколько ниже. Здесь же нужно отметить возросший интерес историков к теории и методологии истории. Все чаще и громче раздаются голоса, что историку нужна не имитация, а эксплицитная теория, что наличие последней неизбежно хотя бы потому, что историк не может на деле не прибегать к причинному объяснению истории. Последнее же предполагает наличие «теории», хотя бы на уровне обычного сознания.

Эту точку зрения наиболее недвусмысленно выразил историк Д. Поттер⁴⁷. Исторический метод, подчеркивает он, многие десятилетия остается без изменений, хотя философская концепция, вызвавшая его к жизни, давно уже изжила себя и отброшена. Этот метод основан на убеждении, что история сама раскрывает свое содержание и сама себя интерпретирует, если только ее свидетельства аутентичны и упорядочены во времени. Следовательно, центральная проблема исторического метода сводится к процедурам верификации данных исторических источников, в то время как центральная проблема историка — объяснение истории. Всю эту важнейшую область методологии «исторический метод» уступил другим, как не имеющую к нему отношения: проблему причинности — философии, проблему мотивации поступков, поведения — психологии, проблему стратификации — социологии. Это была поистине безрассудная щедрость! Отсюда напрашивается вывод: метод так называемой традиционной, «событийной» историографии недостаточен и историку предстоит перевооружение (точнее — обзаведение новым инструментом — retooling). В этом ему могут помочь социальные науки.

Итак, заключает Поттер, если историк приступил к изучению циклов, которые регулярно повторяются, и основополагающих связей, которые всегда проявляются, наконец, параллелей между различными цивилизациями, — ему не обойтись без теории.

Как нетрудно убедиться, ход мыслей Поттера очень близок к приведенной выше точке зрения Броделя, однако вывод, который делает Поттер, куда радикальнее и определеннее. Интеграция истории и социальных наук не может произойти путем объединения систем знаний, которые отражают различные стороны объекта в одном и том же плане (скажем, эмпирическом), путем установления связи между знаниями различных планов (например, теоретического и эмпирического). История более всего страдает от отсутствия словаря понятий, общепризнанных фиксированных терминов⁴⁸, социология же — больше всего от слабости в оперировании параметром времени. Поистине знаменательно, что после долгих лет засилья в американской историографии «идиографических» концепций лучшая часть американских историков провозгласила наличие явной исторической теории высшим принципом социально-исторического познания.

Разумеется, и эта часть историков еще очень далека от того, чтобы увидеть такую теорию в материалистическом историзме. Здесь речь идет только о методологическом принципе, а не о его реализации. Не нужно быть пророком, чтобы предсказать, что вне марксизма этих историков ждет еще цепь разочарований. От скольких историко-философских доктрин буржуазной историографии уже пришлось отказаться, сколько «философских камней» она вышвырнула за борт! И вот теперь в поисках исторической теории буржуазная историография обращается к так называемым социальным наукам, которые, как известно, сами страдают от отсутствия у них цельной теории исторического развития общества. В особенности это характерно для современной американской эмпирической социологии, которая отождествляется с так называемым функционализмом. Она знает теорию «социальных систем», принципом функционирования которых являются «равновесные состояния», их «нарушение» и «восстановление», а вовсе не изменение и развитие. Правда, безграничный в своих претензиях бихевиоризм (сами американцы предпочитают говорить — бихевиорализм, т. е. наука, основанная на бихевиоризме) обещает в будущем создать «общую теорию социальных действий», которая должна включать и объяснение социальных изменений, «начиная с малейшей клетки в человеческом организме..., переходя ко все более сложным системам, как, на-

пример, человеческий организм, человеческая личность, малые группы..., к макросистемам типа обществ и совокупности обществ, поскольку все эти системы управляются гомологическими (т. е. тождественными) процессами⁴⁹. Не удивительно, что в ответ на подобные обещания историку, как метко выразился один из участников дискуссии, остается пожимать плечами. Ему ведь нужны не космические законы, а законы исторические!

Тем временем в тех самых социальных науках, к которым теперь поворачивается лицом историография, все больше укрепляется ахроническое, т. е. неисторическое, мышление. Создается впечатление, что их «теории» больше не нуждаются в прошлом, в истории, что прошлое все больше и больше удаляется от настоящего и теряет для них всякое значение. Исторически ориентированная социология М. Вебера все больше вытесняется функционализмом, точно так же как исторически ориентированная «политическая наука», восходящая к традициям Эйхгорна и Савиньи, все больше уступает место бихевиоризму⁵⁰. Так, Х. Арендт сомневается, может ли история вообще что-либо дать для понимания современной политики. Наконец, и социолог задается вопросом: «Какая польза ныне от хронологии и генеалогии..., к примеру, в динамическом обществе Америки, где люди редко умирают там, где они родились. Такие люди тратят свою жизнь не на благоговение перед прошлым, а на то, чтобы прозреть будущее... Никто не нуждается в знании того, что делали великие люди в прошлом; надо знать, что простые люди должны будут делать в будущем»⁵¹. Разумеется, в таких воззрениях на историю в значительной мере повинен характер американской историографии, но подобные взгляды симптоматичны для характеристики общего «духа» так называемых «социальных наук».

Поскольку социология превратилась в метод изучения так называемых малых групп, ее роль для исторической науки может быть только вспомогательной, так как она проходит мимо общества как целого. Поскольку же она выступает как макросоциология (т. е. общая теория функциональных систем), то по необходимости строится как дедуктивная, логическая теория, витающая так высоко над действительными задачами «социальных» наук вообще и исторической науки в частности, что «направлять» практику исследования она совершенно не в состоянии.

И это естественно: ведь такого рода теория должна создавать впечатление, что она основана на исчерпывающей (в логическом отношении) классификации всех возможных факторов различных классов. Другими словами, в самом «исчерпывающем» характере этой классификации ярче всего проявляется неисторичность. Если с точки зрения функциональной социологии основной недостаток истории заключается в том, что она не базируется на систематическом методе анализа структур, что, разумеется, правильно в отношении буржуазной историографии, то, в свою очередь, основной недостаток этой социологии, с точки зрения историка, заключается в том, что она не знает способа объяснить изменения всей системы — это во-первых, а во-вторых, в том, что источник изменения она вынуждена «вводить» в систему извне (рост народонаселения, смена культурных ценностей и т. п.). Но что же в таком случае остается делать тем представителям «социальных наук», которые желают наставлять историков «в своей вере»? Остается одно: оставив в стороне туманные высоты «теорий», продемонстрировать, как «работают» их методы в конкретно-историческом исследовании. Именно в этом пункте на историка обрушивается такой поток предложений, который явно превышает спрос.

Все основанные на тех или иных идеалистических концепциях социальности частные «науки о человеке», и в особенности те из них, которые в последние годы достигли достаточной степени формализации, чтобы оказаться «переведенными» из разряда описательных наук в разряд наук, призванных устанавливать законы (генерализирующих — по неокантианской терминологии), как-то: структурная лингвистика, эконометрика, некоторые направления культурантропологии, психологии и др., — также поспешили на помощь истории, предлагая ее вниманию свои концепции и методы «изучения человека». Очевидно, что вместо искомой цельной теории исторического процесса историографии предлагаются частные методики (хотя нельзя в то же время отрицать и тот факт, что ряд таких методик и понятий социальных наук может оказаться плодотворным в практике исторического исследования). Все дело в том, на какой теоретической базе будет усвоен этот «набор» методик и процедур, какой руководящий принцип будет положен в основу «нового исторического мышления».

В заключение нельзя не остановиться на суждениях западногерманских историков по проблеме, нас занимающей. Они весьма характерны для определенных течений современной западной историографии в целом. Главное, что объединяет все их суждения в единый, так сказать, тип, заключается в полной удовлетворенности нынешним состоянием исторической науки — и историографической, и событийной. В них нет ни намека на критику неокантианской исторической методологии, ни попытки рассмотреть этот метод в свете логики и методологии современной науки. Зато они пекутся о том, как бы новые социологические тенденции, проявившиеся в историческом мышлении в последнее время, не нанесли ущерба «классическому наследию». Именно этим продиктованы, с одной стороны, открытая оппозиция тому направлению в исторической науке Запада, которое представлено школой «Анналов», и, с другой стороны, попытка такой трактовки категории структуры, которая была бы совместима с концепцией истории великих личностей. Поэтому в направлении «Анналов» историков ФРГ меньше всего устраивает «безликость» исторического фона, «масса» как «коллективная историческая личность», угроза замены «великих личностей» повседневым человеком, ибо именно его заботы создают основание устойчивого и непрерывного, которое концептуализировано в понятии «длительность».

В то же время эти историки вынуждены признать, что в этом сдвиге исторического мышления отразились новые общественные условия: духовную аристократию сменила новая элита — современную культуру творят образованные специалисты, внутренний человек уступил место внешнему, материальному. Этого обстоятельства не может не учитывать и традиционная историография. «Историческая наука, — подчеркивает Питц, — вынуждена перед лицом подобной угрозы заняться этим вопросом... у нее нет никаких оснований сдавать свои позиции...»⁵² Если учесть, какую «историческую науку» имеет в виду Питц, то позиция его самого станет совершенно ясной — его больше всего пугает вторжение в историю «законоподобных факторов» и «кроковых сил», т. е., по просту говоря, категорий исторического материализма. Отсюда задача: принять на вооружение основное понятие современной социологизированной истории — «структура», лишив его того пафоса объективизации историче-

ского знания, который позволяет видеть в нем — при всех его недостатках — воплощение прогрессивной тенденции в буржуазном историзме.

Над решением этой задачи и трудились в меру сил Шидер, Босл и Питц. Шидер начал с критики (и не без оснований) термина «структура». Это понятие, утверждает он, слишком расплывчато, когда употребляется историками; до сих пор не исследованы виды и свойства исторических структур, не указаны способы их обнаружения. Однако сам Шидер от решения этих вопросов уклонился. Он своей работой готовил программу для других. Важными пунктами ее оказались: 1) положение о том, что в категории «структура» нет ничего нового и неожиданного для исторической науки, что, по крайней мере, со времени Ранке она оперировала сверхиндивидуальными роковыми силами, правда, не употребляя при этом самого термина. И чтобы «бросить тень» на его происхождение, Шидер связывает его с именем К. Маркса. Со времени К. Маркса, замечает Шидер, общественное существование человека стало проблемой всех проблем. Социальные структуры превратились в принудительные формы исторического поведения человека, в определяющие реальности истории. И, наконец, заключает Шидер, нет жесткой антиномии между историей структур и историей личностей. Иными словами, для традиционной «истории великих личностей» ничего не меняется, при желании ее можно прочесть в терминах структуры, т. е. как воплощение психологических и духовных «реальностей». Такова была программа, которую попытался реализовать историк Питц в работе, озаглавленной «Исторические структуры».

Подведем некоторые итоги. Изучение литературы рассматриваемого вопроса убеждает в том, что в современной буржуазной историографии, в условиях новой фазы ее методологического кризиса, сосуществуют и сталкиваются друг с другом три тенденции.

Одна из них, представленная направлением «Анналов», видит выход из кризиса в восприятии историографией всех исследовательских методов, выработанных в современных науках о человеке, с тем чтобы сделать аналитический аппарат историка более адекватным современной науке в целом. Ориентация «Анналов» на общую «человековедческую» проблематику в ущерб проблемати-

ке собственно исторической — прямой результат прагматичного подхода к методологическим вопросам исторической науки.

Вторая тенденция представлена наиболее отчетливо в западногерманской историографии (главным образом журналом «Historische Zeitschrift»). Признавая под давлением неопровержимых фактов кризис традиционной школы «историописания», это направление готово возлагать вину на все что угодно, но только не на методологическую основу школы. Она и ныне представляется как наиболее соответствующая духу историзма. Вынужденное уступить велению времени и включить в понятийный аппарат историографии категории, заимствованные из смежных общественных наук, указанное направление преследует цель истолковать эти категории в духе наследия Ранке и Риккерта.

Наконец, третья тенденция наиболее отчетливо представлена в историографии США. Во имя сохранения «самобытности истории» как науки о единичном и неповторимом историке этого направления решительно сопротивляются сближению историографии — по методу — с социальными науками».

* * *

Все три охарактеризованные выше тенденции в современном буржуазном историзме, как и следовало ожидать, проявились на XIII Международном конгрессе историков. Пожалуй, слабее всего прозвучали мотивы французской школы «Анналов» — по той простой причине, что она вообще слабо была представлена на конгрессе. Точку зрения умеренных сторонников внедрения социологических методов в историческое исследование отразил доклад итальянского историка Э. Сестана «История событий и история структур». Сестан ярко представил ту часть западных историков, которая хорошо сознает недостатки традиционной истории событий и вместе с тем не склонна поддаваться увлечениям моды. Успехи так называемых «структуральных наук» не могут скрыть от него недостатков, заключенных в жесткой синхронии. Отсюда осторожность при отборе того, что из арсенала этих наук может быть перенесено в историческое исследование. «История только одних событий, — пишет Сестан, — как

бы она ни интерпретировалась, явно демонстрировала свое несовершенство, свою однородность и несоответствие перед лицом идеальной комплексной истории». С другой стороны, если структуральная история большой длительности способна, по мнению Сестана, «завоевать безграничное одобрение читателя», то исследования событий тем же методом «разочаровывают». Структуры сплошь и рядом остаются «неподвижными и нейтральными» по отношению к повседневной жизни, которая была все же отражена в этих «презренных событиях». И тем не менее Сестан вынужден заключить: «Нравится это кому-либо или нет, но не вызывает сомнения, что структуральная историография, несмотря на риск скатиться до идентификации ее с социологией исторического прошлого, является передовой историографией нашего времени»⁵³.

Совершенно иную позицию занял Шидер. Многозначительна уже сама по себе тема его доклада: «Различия между историческим методом и методом социальных наук». Выступив под благовидным предлогом, что «история не должна отказываться от роли самостоятельной науки», Шидер по существу отстаивал позиции идиографической историографии. При этом он исходил из положений, что: 1) «прошлое не может быть реконструировано как реальность», поэтому все исторические построения имеют лишь спекулятивную ценность; 2) теория исторической науки колеблется между целью «понимания» и целью «объяснения». Первой соответствует «герменевтический метод» («метод вживания»), ведущий к осмыслению «структуры личностей»; преднамеренность поведения, мотивы могут быть поняты только герменевтически; 3) одной из основных «единиц исторического процесса» является «власть» — средоточие «сильных энергетических или волюнтаристских элементов»; 4) можно лишь установить условия, в которых протекали действия людей, но не их причины; 5) истории свойственно служить гарантией непрерывности. Отсюда Шидер выводил различия между историей и социальными науками, опираясь, очевидно на опыт, по его выражению, «национально-немецкой историографии», понимающей исторический процесс как мотивированное самовыражение «великих личностей».

И тем не менее Шидер вынужден был в заключение признать неотвратимость сближения (даже «брака») истории с социологией⁵⁴.

Полностью нигилистическую позицию в этом вопросе занял американский историк Д. Хекстер. Его доклад: «История, социальные науки и количественный метод» — образец того, с каких позиций ведется ныне «защита традиционной истории» от угрозы социологизации ее методов. Достаточно привести краткий перечень аргументов Хекстера: 1) состояние исторических источников таково, что не допускает применения при их изучении априорных схем, формул; 2) с другой стороны, чем сложнее становится математический аппарат социальных наук, тем менее доступен он для историка; 3) предмет истории — духовный мир человека — его сознание, надежды, стремления, целенаправленные поступки; многое ли здесь увидит «гомогенный глаз компьютера?»; 4) стремление самой социологии к свободному от ценностей знанию разбивается вдребезги, наталкиваясь на пронизанную ценностями терминологию; 5) обремененная ценностными суждениями риторика истории неизбежна для нее, если она стремится сообщить корректно другому, чем она является; 6) если процесс создается целенаправленными действиями людей, то понятия ответственности, обязательств, совести и т. п. неотвратимы для гуманистической интерпретации процессов. И вывод: история как способ осмысления человеческого опыта, сталкиваясь с современной социологией, не оказывается перед проблемой научной стратегии, в лучшем случае речь может идти о частных, тактических задачах⁵⁵.

Таково вкратце современное состояние проблемы «История и социология». Если преобладающим мотивом продолжающейся дискуссии следует признать острое недовольство большинства добросовестных историков положением дел в западной историографии и поиски путей выхода из кризиса, то огромная доля вины за все чаще обнаруживающиеся разочарование и пессимизм лежит на всей буржуазной историко-философской мысли. Буржуазная социология щедро предлагает историкам свои частные методик, те же прежде всего нуждаются в философском методе исторического познания, методе столь же общенаучном, сколь и специфическом именно для истории как науки.

ГЛАВА I. СОВРЕМЕННЫЕ БУРЖУАЗНЫЕ КОНЦЕПЦИИ ФЕОДАЛИЗМА

Основные закономерности развития исторической науки ничем по существу не отличаются от закономерностей развития наук о природе: накопление опытного знания время от времени приводит к переосмыслению самых общих проблем науки в целом. Наиболее ярко эта закономерность раскрывается при попытке проследить эволюцию концепций, в которых обобщаются значительные и более или менее завершённые стадии общественного развития.

Эволюция концепций феодализма в современной буржуазной историографии представляет поэтому не только историографический, но и большой теоретический интерес. Последний усиливается еще тем, что именно в этой области буржуазная наука могла бы позволить себе полную объективность, если бы она способна была на нее по самому своему существу. Но изложение общих концепций становится все более редким явлением в буржуазной историографии, которая отваживается лишь на полемику относительно «содержания», «объема», «границ» тех или иных исторических терминов, как будто за терминологическими вопросами не скрываются те же концепции. Ведь очевидно, что определить содержание какого-либо историко-социологического термина — тем более такого обобщенного и емкого, как «феодализм», — значит сформулировать содержание (концепцию) целой исторической эпохи, ее коренных особенностей, ее сути. Образец такой концептуальной расшифровки понятия «феодализм» мы впервые находим в трудах основоположников марксизма-ленинизма.

Такова истина, хотя и до Маркса и Энгельса в историографии предпринимались попытки (в частности Гизо) «концептуализировать» феодальный строй. Если под концепцией иметь в виду теоретическое рассмотрение вопроса, то фундаментальная особенность такого рассмотрения должна заключаться в стремлении раскрыть структурообразующую связь целого — только она позволяет ставить все другие его связи «на свое место». Если же за «концепцию» феодализма выдают «набор черт», характеризующих данный строй, то перед нами — лишь разновидность эмпирического описания, бессильного схватить суть предмета, ибо в нем неизбежно отдельные факты, которые могут варьировать от страны к стране, возводятся, как говорил Ленин, «на степень *общих* ...законов»¹. Очевидно, что эклектическая погоня за полным перечнем всех отдельных черт, признаков, факторов более чем далека от научной теории. Но именно поэтому создателями первой научной теории феодализма справедливо считают Маркса и Энгельса.

Основанное на этой концепции рассмотрение феодализма как закономерного-необходимого этапа в поступательном развитии человечества оказалось в высшей степени научно плодотворным. В конечном счете и ряд школ буржуазной историографии должен был воспринять хотя бы отдельные элементы этой концепции либо так или иначе с ней считаться. Именно поэтому эволюция основополагающих представлений о феодализме в новейшей буржуазной историографии не может не привлечь нашего внимания.

* * *

В поисках исторических корней современных буржуазных концепций феодализма мы должны были бы обратиться к юриспруденции, политической мысли и публицистике XVII—XVIII вв., т. е. ко времени английской и французской буржуазных революций, когда в ходе борьбы третьего сословия со старым режимом складывались и представления о том, что отрицалось, и терминология, в которой эти представления отражались^{1а}. Просвещение наполнило еще сугубо юридическую терминологию феодалов историческим смыслом и сделало вы-

ражения «*système féodale*», «*régime féodal*» («феодальная система», «феодальный режим») достоянием исторической науки. Завершением этого развития было превращение прилагательного (*féodal*) в имя существительное, в обобщенное историческое понятие *féodalité* (и его варианты на других языках — англ.: *feudalism*, нем.: *Feudalismus* и др.).

Естественно, что в истолковании этого понятия с самого начала установилась многозначность, которая прямо или косвенно отражала идеологию борющихся в стране социальных сил. Так, если для идеолога французской знати графа Буленвилье² термин «*féodalité*» означал лишь «метод», «форму» управления, установившуюся с течением времени у франков и воплотившуюся в политической раздробленности и вселили знати, то для воставшего против абсолютизма третьего сословия «*droits féodaux*» — это прежде всего сеньориальные повинности, отягощавшие возделывателей земли — крестьян³. Заявляя о необходимости «полного уничтожения *régime féodal*», декрет Национального собрания от 11 августа 1781 г. имел в виду сеньориальную власть над земледельцем⁴. Нет поэтому ничего удивительного в том, что к концу XVIII в. термин «*féodalité*» получил уже тройное истолкование, которое, с незначительными изменениями, унаследовала буржуазная историография наших дней: 1) формально-юридическое, 2) политическое и 3) социально-экономическое.

К XVIII в. в конечном счете восходят и далеко идущие различия в современной буржуазной историографии во взглядах на феодализм, если рассматривать его с точки зрения всемирно-исторической, т. е. с позиций общего процесса развития человечества. Так, если для Монтескье⁵ установление «феодальных законов» в Европе было событием неповторимым ни в пространстве, ни во времени (по существу — европоцентрическая точка зрения), то для Вольтера⁶ это факт в известном смысле — всемирно-исторический, который может повториться у различных народов. «Давно доискиваются..., — пишет он, — происхождения феодального правительства. Правительство монголов после Чингисхана было правительством феодальным в такой же мере, в какой им являлось правительство Германии или почти всех других государств Европы». Это издавна практиковавшаяся всеми завоевате-

лями система управления. Феодализм — не нововведение, «это форма весьма древняя, которая существует в трех четвертях нашего полушария...». Джамбатиста Вико писал еще раньше о ряде «вечных в смысле повторяемости у различных народов на определенной стадии развития принципов феода»⁷, видя в них социально обусловленную стадию всемирного развития.

Таким образом, уже в XVIII в. были намечены основные спорные вопросы буржуазной науки наших дней: «один феодализм» или «много феодализмов», случайный строй одного уголка Европы или всемирно-историческая стадия в развитии общества?

Однако указать корни современных воззрений отнюдь не значит объяснить их содержание и в особенности — место тех или иных взглядов в современном историческом мышлении⁸. А между тем мы — свидетели глубоких сдвигов в самих основоположных его понятиях, в том числе и в интересующей нас области.

Сущность и направление этих сдвигов отчетливее всего выявляются при анализе концепций феодализма, которыми современная буржуазная историография обязана четырем основным ее школам: 1) политико-типологической (О. Гинце, современные американские компаративисты), 2) социально-исторической (М. Блок и его последователи), 3) формально-юридической (Ф. Гапсхоф, Ф. Стентон, К. Стефенсон) и, наконец, 4) западногерманской «современной школе» (О. Бруннер, Т. Майер, К. Босл). Рассмотрим эти школы в последовательности, которая, с одной стороны, обнаружит их связь с определенным временем, с другой — их взаимосвязь.

Не будет преувеличением сказать, что работа Отто Гинце «Сущность и распространение феодализма»⁹ — в одно и то же время и яркое свидетельство важных методологических сдвигов в самом подходе к интересующей нас проблеме, и первая в новейшей буржуазной историографии попытка концепционного анализа самого понятия «феодализм». Поэтому она и послужит отправным пунктом нашего дальнейшего изложения.

Предшественниками Гинце были Георг фон Белов и Макс Вебер. У первого Гинце воспринял общее определение феодализма, как институционно-политического «метода», с помощью которого подданные государства медиатизируются (опосредствуются) носителями частной вла-

сти; у второго он воспринял логический стиль исторического анализа, а именно — его систему «идеальных типов». Однако концепцию Белова он дополнил соображениями о том, что «феод» обладал в одно и то же время функциями и военными, и хозяйственными, и социальными, т. е. функциями, которые остались за пределами этой концепции. Что же касается типологического истолкования исторических феноменов, то Гинце его дополнил методом сравнительно-историческим.

Если Белов сомневался в полезности сравнительно-исторического подхода к изучению проблемы феодализма, ограничивая ее границами романо-германского мира, то Гинце с самого начала ставит вопрос: насколько и на каком основании оправдано применение термина «феодализм» для характеристики «культур» других (не германо-романских) народов? Сформулировав свое понимание феодализма как системы управления обширным государством в условиях господства натурального хозяйства, Гинце свел сущность этого строя к превращению государства в атрибут землевладения (*Verdinglichung der Herrschaft*). Это обстоятельство, в свою очередь, приводило к дроблению объектов управления (территории) вместо дифференциации функций управления, характерной для современного «учрежденческого» государства. Таким образом, ленная система оказывалась лишь вариантом патриархально-вотчинной формы управления, к которой прибегала королевская власть, когда публичные средства отсутствовали или оказывались недостаточными. С этой точки зрения феодализм — не распад, не разрушение государства, не его упадок и исчезновение, а, наоборот, метод его «воссоздания» на новой материальной основе — частновотчинного землевладения «функционеров» государства (вотчинников), соподчиненных вассальной системой.

Таким образом, политическое истолкование феодализма в концепции Гинце являлось подлинным основанием идеально-типического осмысления этого строя. Следуя за Беловым, которого он с полным основанием обвинял в узости, Гинце создает свой «идеальный тип» феодализма, разумеется, прежде всего на материале Франкского государства, где этот строй сложился в наиболее «классической» форме. Если этот «идеальный тип» обрисовать статически, т. е. как систему институтов, то мы получим картину феодального государства, или то, что Гинце име-

нует «политическим феодализмом». Если же обрисовать его функционально и динамически, то перед нами обнаружатся, как полагает Гинце, принципы движения всех других сторон этого общества — экономическая сторона феодализма, его базис (сеньориально-крестьянское хозяйство), социальный строй (сословная система), военный строй (военно-рыцарская система).

Нетрудно заметить, что в трактовке Гинце феодализм — понятие более емкое и многозначное, чем у Белова, ибо в нем в одно и то же время воплощен принцип политической, военной, хозяйственной и социальной организации общества. В результате Гинце в известном смысле преодолел то «плоскостное» изображение феодализма, которое было характерно для сторонников единственно политического его истолкования. Вместе с тем также очевидно, что в центре концепции самого Гинце оставался государственный строй как творческое начало и конечная цель всей общественной системы. Все другие ее стороны оказывались в поле зрения Гинце лишь постольку, поскольку они находились в служебном отношении к государству.

Таким образом, Гинце пытаясь преодолеть не только узость концепции юридической школы XIX в. (сводившей феодализм к «ленной системе»), но и узость концепции Белова (рассматривавшего феодализм почти исключительно как форму политической организации общества), по существу не смог вырваться из рамок этих концепций. Это становится очевидным из анализа факторов, которые, по мнению Гинце, приводят к возникновению феодализма: раздел государственной власти «между главой и членами» (т. е. королем и его функционерами на местах); частный и публичный характер власти; взаимодействие церкви и государства (клирики — государственные мужи). Устанавливая (на основе «франкского типа») три периода развития феодализма — ранний (до XII в.), классический (до XVI в.) и поздний (до конца XVIII в.), Гинце, однако, определяет грани этих периодов исходя из совершенно различных принципов — то функции дворянства, то формы государства, то функции сеньории.

При всей своей ограниченности концепция Гинце дала ему возможность подчеркнуть: феодализм в полном смысле этого слова был известен народам не только германо-

романского мира, его также знали Россия, страны Ислама и Япония¹⁰. Так был сделан значительный шаг по пути преодоления европоцентристской концепции этого строя.

Однако шаг этот половинчатый, так как Гинце отказывался признать в феодализме необходимую всемирно-историческую стадию развития. Понятие «стадия» для него неприемлемо, так как оно — синоним закономерного развития общества. В истории же, по его мнению, господствует случайность, которая может повториться у различных народов с одинаковыми последствиями, но может и не повториться. Феодализм — результат случайного стечения обстоятельств.

Итак, согласно Гинце, феодализм — не следствие внутреннего развития, а результат военных столкновений различных по своему уровню цивилизаций, в ходе которых победа достается более примитивной из них. В догосударственной цивилизации в таком случае наблюдается отклонение процесса перехода данного народа от родо-племенного строя к строю государственному вследствие завоевания им обширных территорий. «О феодализме можно говорить только там, где нормальное и непосредственное развитие от племени к государству отклоняется внешним завоеванием».

Этот тезис вытекает из общеисторической концепции Гинце, восходящей к Ранке, согласно которой определяющим фактором в возникновении и развитии государства являлась внешняя политика. Очевидно, что франкский тип феодального развития превращается в своеобразный эталон путей и форм установления средневекового государства у других народов. «Полный феодализм» знали лишь Франция, Германия, часть Италии и Испании. Вокруг этого ядра расположен пояс «периферийных» стран, не знавших, по мнению Гинце, феодализма в строгом смысле слова (Польша, Скандинавия, Венгрия). В Польше, например, военная служба шляхты основана была на публичной повинности, а не на частном договоре; основой публичной власти являлась аллодиальная, а не феодальная собственность и т. д. Нельзя говорить о феодализме в скандинавских странах, не знавших ни института феода, ни вассалитета; это государства, возникшие на чисто племенной основе. Гинце отказывается признать феодализм в Индии и Византии. «Феодализм, — пишет он, —

таким образом выступает... не как стадия чисто имманентного, внутреннего развития народов, а как реакция на всемирно-историческое (т. е. внешнеисторическое. — М. Б) столкновение, как результат приспособления более молодых народов к формам покоренной ими старой преобладающей культуры и цивилизации¹¹. Другими словами, феодализм невозможен без синтеза варварских институтов и институтов античных, т. е. «более высоких» рабовладельческих цивилизаций.

Критики Гинце не без основания отмечали, что его «феодализм» оказывается в конечном счете лишь попутным явлением завоевания, «преждевременным звеном» в ходе развития варваров от племенного строя к государству. Такое завоевание не ограничено рамками какой-либо эпохи. Оно могло иметь место и в античности. Следовательно, и феодальный строй мог встречаться в древнем мире, как и в средние века. С другой стороны, согласно той же концепции, феодализм в древности не мог возникнуть там, где государство развивается на племенной основе «концентрически», «из ядра» (Греция, Рим, а в средние века — Скандинавия и др.). Но если на почве «органического» развития какой-либо общественный строй не может сложиться, его, следовательно, нельзя считать и стадияльно обусловленным, исторически неизбежным. Тем самым общественный строй, который, по признанию самого Гинце, был известен во многих странах Европы и Азии, оказывается лишь результатом повторения случайных обстоятельств. Таков итог рассуждений Гинце о феодализме.

Концепция Гинце оказала значительное влияние на историко-юридическое направление в лице Г. Миттайса¹². Последний характеризует феодализм как широко распространенное явление. Франкская ленная система у него — только один из вариантов этого строя. Миттайс воспринял также у Гинце основной логический прием типологического построения, когда на основе «отвлечения» характерных черт от одного конкретно-исторического объекта создается идеализированное понятие «типа». Затем путем сопоставления его с аналогами в других «исторических средах» исследователь достигает такой степени обобщения, что «исходный тип» оказывается лишь частным случаем. Именно таким путем Миттайс дал развернутое истолкование понятия «ленного государства».

В противовес «центробежному» истолкованию политической сущности ленной системы («перерыв государственных связей», разрушение «союза подданства», «предпосылка анархии») ¹³ Миттайс усмотрел в ней нечто противоположное. Его труды — это настоящая апология создающего «государственного» значения ленного строя. Отсюда его определение ленной системы, как «положительно повернутого феодализма», т. е. феодализма, не разрушающего государство, а создающего его. Не ленная система как таковая привела к подрыву государственного единства Германии, а та особая форма, в которой эта система была здесь распространена. Ленное право — это единственное средство придать средневековому государству форму правового государства, это часть современной правовой жизни, ступень, ведущая к ней.

Государство Миттайса — не «опрокинутые в прошлое» современные публично-правовые представления, оно исторично по своим формам, поскольку автор не ищет в средних веках аналогии современным формам организации власти. Вместе с тем это «государство» не функционирует на всю глубину социальной структуры общества, это «государство» — без крестьян, государство «верхней тысячи», каким оно рисуется в праве, более того, оно — творение права.

Подчеркивая, что на ранних ступенях общественного развития правовые установления возникали непосредственно из социальных отношений, Миттайс вместе с тем признает за правом решающую роль, считает его важнейшим фактором политической интеграции, в котором зарождающееся государство черпает свои первые силы.

Тем более это относится к ленному праву, которое может стать силой разлагающей или создающей, в зависимости от исторических условий. Иными словами, само ленное право свойственно не какому-либо национальному типу развития, оно — «сверхнационально», международно. Очевидно, что перед нами — лишь чрезмерно разработанный в одном направлении тезис Гинце о создающей роли ленной системы в истории государства. И точно так же, как Гинце, Миттайс подчеркивает, что феодализм необходимо возникает там, где возникает задача «политически организовать» обширное пространство при отсутствии сколько-нибудь развитых средств сообщения, денежного хозяйства и т. д. Это «морфологическая» сту-

пень процесса становления всякого государства, складывающегося в аналогичных условиях. Этим подчеркивается возможность универсально-исторического рассмотрения проблемы, хотя, как мы могли убедиться, от него еще далеко до признания феодализма обществом стадиально детерминированным.

Вместе с тем романо-германский мир рисуется Миттайсу отнюдь не единым типом феодального развития, а сочетанием различных его типов. «Следует освободиться от фикции, — пишет он, — будто после X в. еще может идти речь о единообразии ленной системы в различных странах романо-германского мира. Исходный пункт — один и тот же, а развитие в его единичном проявлении различно» ¹⁴. Оно может привести и к патримониальному государству, и к «централизованному», «учрежденческому» государству, к разделу территории государства между его функционерами и к рациональному расчленению функций управления.

Очевидно, что вся проблема феодализма выступает в узкоюридическом и насковзь идеалистическом освещении Миттайса крайне односторонней и столь же обедненной. Если Рот рассматривал ленную систему в качестве враждебной силы по отношению к государственному началу западноевропейского развития, если Белов, наоборот, считал, что феодализм не устранил государство, существовавшее вопреки ему, то Миттайс в ленной системе (т. е. в «феодализме») усматривал олицетворение средневекового правопорядка. Ему, таким образом, принадлежит заслуга возведения ленной системы в правотворческую основу средневекового государства. По сравнению с ней даже империя Карла Великого — этот «государственный идеал» раннего средневековья — рисуется плохо сколоченной федерацией «партикуляристски устремленных» областей, а управление ею — всего лишь плохо скрытый раздел государственного целого на управляемые территории.

Обосновывая познавательную ценность историко-сравнительного метода при изучении ленной системы, Миттайс утверждает, что политический результат ленной системы зависел не от нее самой, а от исторических условий, в которых она функционировала. Вместе с тем он указывает на опасность поверхностных наблюдений по мере расширения поля наблюдений. Как и Гинце, Миттайс предпочитает «средний путь» — между методикой единич-

ного, ведущей к полному отказу от сравнительно-исторических обобщений, и социологизирующей абстракции, ведущей к установлению надисторических закономерностей. Т. е. он предпочитает типологический путь.

Социально-историческое направление в истолковании феодализма в современной буржуазной историографии представлено прежде всего трудом Марка Блока «Феодальное общество»¹⁵.)

В этом труде предпринята попытка более или менее целостного рассмотрения проблемы феодализма. Отметим, что по своим методологическим воззрениям на историю Блок много ближе к позитивизму, чем к марксизму, определенное влияние которого он, однако, несомненно испытал.

Хотя Блок и был склонен признавать в отдельных случаях определяющую роль так называемого «экономического фактора», трактуемого как «форма хозяйства», как ступень хозяйственного развития общества, тем не менее решающая роль в генезисе феодализма как отношений господства и подчинения приписывалась им фактору социально-психологическому. Последний обусловлен, во-первых, «средой», включающей и природу, и общество, а во-вторых, особыми условиями, сложившимися во франкском обществе в IX—X вв.) В первом томе своего труда Блок сосредоточил внимание на специфических чертах феодализма. Он усмотрел их в наличии всеобщих «связей зависимости», т. е. в исторически обусловленной форме социальной организации общества. Во втором томе автор рассматривает те стороны общественной жизни, которые, по его мнению, присущи не только феодализму, а государству как таковому. Речь идет об организации управления, т. е. делается попытка взглянуть на феодальное общество с точки зрения политической концепции его сущности.

Очевидно, что основной интерес для нас представляет проблематика первого тома. Но прежде чем рассмотреть ее, полезно проанализировать одну из последних глав II тома — «Феодализм как социальный тип». Она дает возможность выяснить, в чем Блок усматривал основу феодализма как «типа социальной организации». Приводя по этому поводу суждения французских историков XIX в. — Герара (считавшего таковой форму землевладения, т. е. отношения поземельные) и Флякка (усматривавшего ее в системе личных связей, в отношениях личной зависимости), Блок воздерживается от прямого ответа, хотя очевидно, что всей своей работой он полностью присоединяется к мнению последнего. Феодальная система, пишет Блок, явилась результатом грубого разрушения варварскими завоеваниями более древних обществ, основывавшихся в одном случае на связях государственных (Рим), а в другом — на связях кровнородственных (древние германцы) (в последнем случае речь может идти о франкских завоеваниях к востоку от Рейпа).

Основная особенность феодального общества (система личной зависимости) была бы необъяснима без учета варварских завоеваний, которые силой заставили слиться воедино две общественные формы, принадлежавшие к двум различным стадиям развития. Этой своей специфической феодальное общество обязано тому, что оно возникало в условиях всеобщей примитивизации жизни, быта и мышления, и в частности расстройств денежного обращения, что исключало управление через платных агентов государства. Очевидно, что в этой части концепция Блока не содержит ничего принципиально нового по сравнению хотя бы с вышеизложенной концепцией Гинце. Оригинальность Блока заключается не столько в обосновании условий генезиса феодализма, сколько в определении условий его функционирования. Прежде всего, следует отметить, что феодализм мыслится Блоком не как отдельно взятый институт, хотя и важный, но не охватывающий общество в целом, не как организация одного из классов, а как строй общества, взятого в целом, сверху до низу, от короля до серва, как социальная структура, продиктованная не привнесенной извне целью, а условиями существования этого общества.

Не удивительно, что, исследуя возникновение связей личной зависимости, Блок не ограничивается рассмотрением этих связей в рамках военного «класса» вассалов-вотчинников, обладателей «благородных держаний» — фьефов, а включает в поле своего зрения и ту сферу жизни, которую историко-правовая школа по сей день оставляет за рамками феодализма¹⁶. Речь идет о включении в эти «связи» крестьянско-вотчинных отношений, которые в традиционной схеме историко-правовой школы фигурируют под именем «сеньории» и исключаются из понятия «феодализм» на основании совершенно ложной посылки:

Не удивительно, что, исследуя возникновение связей личной зависимости, Блок не ограничивается рассмотрением этих связей в рамках военного «класса» вассалов-вотчинников, обладателей «благородных держаний» — фьефов, а включает в поле своего зрения и ту сферу жизни, которую историко-правовая школа по сей день оставляет за рамками феодализма¹⁶. Речь идет о включении в эти «связи» крестьянско-вотчинных отношений, которые в традиционной схеме историко-правовой школы фигурируют под именем «сеньории» и исключаются из понятия «феодализм» на основании совершенно ложной посылки:

«феодализм может быть понят без сеньории, сеньория — не нуждается в феодализме». Это в конечном итоге и составляет самое важное отличие концепции. Хотя Блок и отмечает, что сеньория древнее феодализма в собственном смысле слова (т. е. ленной системы) и не обязана ему своим происхождением¹⁷, однако поскольку феодальным в его концепции изображается не один род отношений, а вся организация общества в целом, постольку сеньория составляет ее важный элемент (*élément essentiel*).

Иначе говоря, с точки зрения Блока, нет никакого принципиального различия между психологической структурой связей внутри правящих классов и структурой связей между последними и классами, им подвластными. В то же время он признает факт существенных различий в юридическом выражении этих связей, как и сознает различие их социальной значимости (например, он подчеркивает, что формы зависимости собственно феодальные только «применяются» к организации низших классов). Но самое важное заключается в том, что эксплуатация крестьянства как класса признавалась Блоком решающей предпосылкой функционирования феодального строя. Многозначителен следующий перечень основных черт феодализма: «подвластность крестьянства», тесное экономическое подчинение массы несостоятельных — немногим магнатам, «широкая практика вознаграждения за службу держаниями (фьеф)», господство профессионально-военного класса, связи послушания и защиты, которые соединяют человека с человеком и которые в среде военного класса принимают особо чистую форму вассалитета, дробление власти...»¹⁸. То, что этот перечень начинается с характеристики положения крестьянства, и составляет отличие концепции Блока от других буржуазных построений истории средневековья, определяет ее несомненную прогрессивность.

Наиболее плодотворным элементом исследования Блоком феодального общества, является, во-первых, широкое использование сравнительно-исторического метода и, во-вторых, вовлечение в поле зрения историка таких нередко предаваемых забвению факторов общественной жизни, как социальная психология. Хотя пределы Европы в анализируемом труде ограничиваются линией Адриатика — р. Эльба, тем не менее феодализм в нем предстает как факт общеевропейской истории (при всем том Скандинавия,

Фрисландия и Ирландия признаются «отсутствующими» на карте европейского феодализма).

Более того, Блок склонен раздвинуть географические рамки феодализма далеко за пределы Европы. И хотя он откладывает в будущее ответ на вопрос: «Прошли ли через феодализм также и другие общества?» («это — тайна будущих исследований»), он фактически дает на него положительный ответ (во всяком случае, поскольку это относится к Японии). Блок — компаративист в строгом смысле этого слова. В сравнительно-историческом методе он видит путь как к выявлению общего и типического, так и к установлению локальных особенностей и различий.

Метод Блока наиболее ярко выражен в первых двух книгах I тома «Феодального общества». Характеристику условий, сложившихся в Европе в VIII—X вв., Блок начинает с описания набегов арабов, венгров, норманнов на страны Западной Европы и материальных и духовных последствий этих набегов. Значительная убыль населения, его случайная, неравномерная миграция, материальные потери, обстановка постоянной опасности, подозрительность и духовная депрессия — все это усугубляло слабость власти и беспорядок, царившие в Западной Европе уже в канун нашествий.

Обрисовав далее экономический быт этих стран: редкое население, наступающий на пахоту лес, затрудненные коммуникации (дороги полны опасностей), нарушенный обмен, пассивный для Запада торговый баланс, нехватка денег, оплата услуг натурой, — Блок переходит к описанию «духовных предпосылок» феодализма. Эта часть его концепции — наиболее оригинальна. Вот, например, как Блок подходит к проблеме «психологического фона» генезиса феодализма. Его факторы: человек из народа в раннем средневековье близок к природе, груб, физически вынослив, малочувствителен и вместе с тем — крайне эмоционален. Эпидемии, голодовки, недостаточная гигиена, как и недостаточное питание, постоянная прикованность мысли к сверхъестественному — все это делало его нервную систему крайне неустойчивой.

Этому времени чуждо понятие точности, потому что отсутствует сама возможность быть точным. Трудность получения информации, скудость ее средств в соединении с неразвитостью мысли делали человека крайне легко-

верным. В немалой мере это объясняется состоянием основного инструмента передачи и получения информации — языка. Друг другу противостояли две группы людей: «огромное большинство неграмотных, изолированных каждый в своем диалекте», и «горстка грамотных».

Эта горстка двуязычна, она прибегает то к повседневному разговорному диалекту, то к языку образованных — латыни, что приводило к большим трудностям в определении социальных отношений. «Единственный язык, который был способен фиксировать результаты социальной практики, наряду с познаниями, наиболее полезными для человека и его благополучия, латынь, — был абсолютно непонятен не только народным массам, но и большинству тех, кто руководил общественными делами». Отсюда выдающаяся роль клириков среди администраторов, с одной стороны, и частое расхождение между устно выраженной волей и ее передачей в письме — с другой. Как велик был, следовательно, простор для злоупотреблений! Это убедительно иллюстрирует роль церкви в ломке родового обычая германских племен, в насаждении римского формуляра, враждебного по духу своему этому обычаю и ускорившего его гибель.

Так путем анализа особенностей чувств и мыслей средневекового человека Блок проник в глубины социально-экономической жизни, что позволило ему сделать ряд тонких и интересных наблюдений.

Разумеется, увлечение анализом условий возникновения феодального строя уводило Блока от поисков причин его возникновения. Однако именно это увлечение привело Блока в тесное соприкосновение с народными массами далекого прошлого, что позволило ему глубже понять их исторические судьбы. Наконец, заслугой Блока является утверждение сравнительного метода — в качестве основного метода исторического познания. Общества могут быть познаны в их единичном, неповторимом, если их рассматривать не изолированно друг от друга, а в сопоставлении и в различении. Для этого история феодализма у различных народов должна быть расчленена на сопоставимые периоды. «Феодальное общество» Блока остается поныне лучшим синтетическим трудом буржуазной историографии по истории феодализма. Однако из-за прогрессивности общен исторических воззрений Блока целенаправленность этого труда, как и его метод, оказались

неприемлемы для многих современных буржуазных медиевистов.

Почти одновременно с капитальным трудом Блока была опубликована статья Х. Кронна «Происхождение феодализма»¹⁹. И хотя в решении именно этого вопроса работа малооригинальна, в ней привлекает внимание другое — попытка определения сущности феодализма, которое можно считать типичным для современной буржуазной науки. Кронн справедливо (хотя и не по адресу) замечает, что до тех пор, пока разные ученые вкладывают в один и тот же термин разное содержание, истолкование такого термина — задача весьма затруднительная. Кронн подчеркивает, что феодализм был «фазой в развитии» некоторых обществ «в определенных условиях», но ни в коем случае не «неминуемая фаза» общественного развития (очевидно, замечание, направленное против марксистской концепции). Кстати сказать, Кронн отходит от европоцентризма, когда замечает, что феодализм известен и за пределами христианских стран средневековья (эта сторона концепций М. Вебера и О. Гинде не прошла даром для буржуазной историографии 30—40-х годов).

Кронн не нашел в существовавшей в то время литературе (разумеется, буржуазной) ни сколько-нибудь удовлетворявшего его определения термина «феодализм», ни ответа на вопрос о предпосылках возникновения феодализма.

«В конечном счете, — пишет он, — феодализм был порождением неодолимого желания людей достичь положения, власти и прежде всего обеспеченности: личной, экономической и политической». Это не значит, продолжает Кронн, что причину феодализма следует усматривать в упадке правительства, хотя последнее обстоятельство и содействует его возникновению. Даже самое внимательное чтение всего дальнейшего текста не позволяет обнаружить другого ответа на этот в сущности самый исходный вопрос: каковы предпосылки феодализма? Выход из затруднения Кронн увидел в том, что вместо предпосылки феодализма он перечислил его составные элементы. Их оказалось четыре: 1) личный элемент (вассалитет), 2) вещественный элемент (фьеф), 3) судебный элемент (наличие феодальной курии), 4) военный элемент (отправление специального рода военной службы вассалами в пользу сеньора). Перед нами хорошо знакомый заколдованный

круг, в который неизбежно заводит приверженность к формально-юридической интерпретации феодализма. Удовлетворимся тем, заключает Кронн, что будем определять как феодальное общество, организованное на базе указанных четырех взаимосвязанных элементов, среди которых важнейшим следует считать отправление вассалом военно-рыцарской службы. Таковы пределы осмысления понятия феодализм буржуазной историографией и в наши дни.

В послевоенной буржуазной медиевистике компаративизм на политико-типологической основе (т. е. признание феодализма универсально-исторической формой политической организации общества) привился в значительно большей степени за океаном, чем в Европе (в США с 1958 г. издается единственный компаративистский исторический журнал: «Comparative Studies in Society and History»). Именно в США была предпринята первая в буржуазной медиевистике систематическая попытка «универсально-исторического» (как во времени, так и в пространстве) рассмотрения феодализма, результатом чего и явился коллективный труд «Феодализм в истории»²⁰. Объяснить этот факт нетрудно. Во-первых, в США европоцентристские традиции в медиевистике были всегда намного слабее, чем в Западной Европе, и их преодоление здесь зашло гораздо дальше. Во-вторых, в США было, естественно, легче отвлечься от идеи исключительности романо-германского феодализма и утвердиться в идее многовариантности (с точки зрения юридических форм) феодального строя. Наконец, в США это было облегчено тем, что проникновение социологических методов и точек зрения в исторические исследования намного опередило по своей интенсивности и масштабам аналогичные процессы в западноевропейской историографии.

Отметим, однако, с самого начала, что компаративизм в медиевистике США, поскольку он отразился в названном труде, выглядит обедненным (по глубине охвата общественных явлений) по сравнению с компаративизмом Блока: он зиждется на построениях Гинце — Миттайса, охватывающих лишь, как мы видели, государственно-правовую область общественной жизни. Не удивительно, что такой компаративизм малопродуктивен по своей методологической направленности и методическим приемам. Труд «Феодализм в истории» представляет собой науч-

ный итог симпозиума, призванного ответить на вопрос: в какой мере истории свойственны повторяемость и единообразие? Обратим внимание на эту формулировку: речь идет не о закономерностях развития, а лишь о повторениях циклического характера.

По мнению участников симпозиума, феодализм, среди всех других типов социальной организации — наиболее благодарный материал для положительного ответа на этот вопрос. С этим можно было бы только согласиться, если бы речь шла о повторениях стадийного характера, ибо феодализм действительно самая распространенная и универсальная антагонистическая общественная формация в истории человечества. Но как же общие формулы компаративизма конкретизируются? Феодализм в интерпретации редактора анализируемого труда Р. Кулборна оказывается очень близким к концепции Гинце — Миттайса, а именно — политическим орудием, с помощью которого «оживляется» пришедшая в упадок цивилизация. Несколькими ниже Кулборн формулирует свою мысль еще яснее: «Феодализм... грубое, но здоровое восстанавливающее средство (device) против дезинтеграции и упадка».

Условия, благоприятные для возникновения феодализма, — следующие: «Где правительства не способны защитить подданных от внутреннего и внешнего угнетения; где военное могущество сосредоточилось в руках относительно небольшой части общества; где ранее территориально более обширные экономические системы распались или где обширные политические системы вновь созданы, при отсутствии экономического единства»²⁰; наконец, преобладание агрикультуры, локальный характер экономических связей и т. д. Однако весь этот перечень условий, предшествующих установлению феодализма, говорит о феодализме прежде всего как о временной политической необходимости, о продукте исторических превратностей предшествующих ему цивилизаций, а не как о закономерно возникшей цивилизации, складывающейся на почве внутреннего развития более примитивных общественных форм. Иными словами, «феодализм» Кулборна — это вынужденный и случайный «провал» между двумя волнами цивилизации, организация управления, к которой прибегают вслед за внешним завоеванием. Вторжению варварских народов на территорию одряхлевших цивилизаций и здесь отводится решающая роль.

Таким образом, феодализм — вовсе не закономерно обусловленная, более прогрессивная цивилизация — в сравнении с предшествующей ей — и с только ей присущей ролью в историческом прогрессе общества на определенной его ступени. Среди всех девяти исторических примеров феодализма, проанализированных участниками симпозиума, только пример Японии может, по их мнению, подойти под тип генезиса феодализма, осознанного как «восхождение» по сравнению с предшествующим строем.

Следовательно, феодализм в истолковании Кулборна выступает всего лишь как упадок в развитии изначальной цивилизации, как результат катаклизма, распада такой цивилизации, как «временный политический выход» в ожидании нового подъема цивилизации. А так как такой «кризис» может наступить, по мнению Кулборна, на различных стадиях общественного развития, то и «обращение» к феодализму в качестве спасительной меры не носит стадийного характера, ибо как только кризис прошел, феодализм изживается и преодолевается.

Итак, феодализм сам по себе — не есть «цивилизация», а эвентуально «вспомогательная стадия» в циклическом развитии различных цивилизаций. А так как в каждой из них может повториться состояние «одряхления», «развал и упадок», то и возникает возможность появления феодализма в самые различные эпохи допромышленных обществ и повторения его на разных этапах истории одной и той же страны. Так к мысли о повторяемости феодализма «по горизонтали», т. е. у различных народов, оказавшихся в одинаковом положении, прибавлена совершенно антиисторическая в своей сущности мысль о повторяемости феодализма «по вертикали», т. е. в истории одного и того же народа. Например, участники симпозиума нашли феодализм в древнем Египте дважды: в период Древнего царства (с VI по XII династию) и в период Нового царства (с XX по XXVI династию) наряду с «феодализмом» в древней Месопотамии и мусульманской Индии, Ираке, Китае (династия Чжоу) и т. д. Получается, что феодализм знали все периоды истории — от древнейших времен до новых.

Очевидно, что в своем определении сущности феодализма компаративисты США (Кулборн и др.) в конечном счете гораздо ближе к рассуждениям Гинце — Миттайса, нежели Блока (более того, вышеприведенное опре-

деление феодализма является шагом назад и по сравнению с концепцией Гинце, в которой наряду с «политическим» феодализмом мы находим и феодализм «экономический», «социальный», «военный»). «Это слово,— пишет Кулборн,— означает скорее общий метод политической организации, нежели один какой-либо институт. Этот метод могли практиковать и народы, у которых не найти такого специального института (т. е. ленной системы)»²².

Разумеется, если рассматривать это определение в качестве выступления против формально-юридической концепции феодализма, сводящейся к полному отождествлению его с вассально-ленной системой, то, несмотря на его очевидную недостаточность, оно может свидетельствовать об элементах известного прогресса в буржуазной медиевистике. Редакторы «Феодализма в истории» принимают в этой связи важные вопросы исторического познания. «В течение многих поколений,— читаем мы,— историки настаивали на том, что каждое историческое событие... уникально и никогда не повторяется. Между тем они употребляли слова и концепции скорее универсального, чем специфического значения. На каком основании допустимо употребление слов столь общего значения? Имеются ли события, которые столь схожи, что они должны привести к одинаковым результатам? Являются ли возможные решения общественных проблем столь ограниченными в числе, что события, которые в действительности не совсем схожи, приводят к результатам, почти идентичным? Или все это только мираж, обусловленный бедностью нашего словаря?»

Итак, вопрос заключается в следующем: «Обусловлена ли повторяемость общественных форм у различных народов всего лишь бедностью нашего словаря, из-за чего мы вынуждены обозначать одним термином схожие, но все же различные факты, или же в истории различных народов, несмотря на различия во времени, имеются идентичные структуры, обуславливающие то, что различные по видимости события приводят действительно к тождественным результатам? Участники симпозиума явно склоняются к последнему мнению, но, поскольку они сводят сущность феодализма лишь к «методу политической организации», их собственная концепция оказывается не более содержательной, чем отвергаемая ими формально-юридическая. Не случайно же участники симпозиума в каче-

стве предпосылки феодализма указывают не социальный процесс, а «события». Если феодализм всего лишь «метод решения политических задач», то он наступает именно после «события», т. е. после крушения централизованной формы государственности.

Узость этой концепции «феодализма» по сравнению с концепцией Блока, становится особенно очевидной, когда мы читаем следующее: «Феодализм есть прежде всего метод управления, а не экономическая или социальная система». У Блока феодализм — система всеобъемлющих общественных связей, у компаративистов США это — только один аспект общественной жизни, аспект политический: осуществление политических функций посредством личного договора индивидуумов, трактовка политической власти как частного владения ее носителя, территориально ограниченное управление и т. н. — этим для них исчерпываются основные признаки феодального строя.

В поисках созидающего начала феодализма Страйер и Кулборн отдают решительное предпочтение связям личным (вассалитету), считая, что выдвигание на первый план отношений фьефных (поземельных) способно лишь ввести в заблуждение (в противовес точке зрения Фюстель де Куланжа, Сибомы, Адамса). «Сам по себе факт, — читаем мы, — что один человек держит землю от другого, еще не создает необходимо феодального отношения», так как власть феодального лорда не является простым расширением власти лендлорда (хотя, отмечают они, в «зрелом» феодальном обществе будет наблюдаться почти «равное развитие» и вассалитета, и фьефной системы). Страйер и Кулборн еще более решительно отказываются признать феодальными отношения между лордом и крестьянином, поскольку, по их мнению, ничего специфически феодального в этих отношениях нет: большинство правящих классов прошлого содержались трудом крестьян и присваивали себе право ими управлять, судить их и облагать налогами. Это замечание обоснованно, особенно в свете истории древнего Востока.

Вопрос о том, при каких условиях крестьянские оброки и платежи крестьян превращаются в феодальную ренту, отнюдь не праздный. Более того, он имеет немаловажное значение для решения проблемы «начала феодализма» и в странах Западной Европы: «оброки» земледельцев, их повинности «государству» и в странах «ро-

mano-германского мира» древнее феодализма. Однако участники симпозиума скорее склонны снять этот огромный важности вопрос с обсуждения, чем решить его, ибо они ограничиваются следующей констатацией: «Право судить и облагать крестьянина платежами..., тот факт, что лорд содержит трудом подвластных ему крестьян, не свидетельствует о существовании феодализма»²⁴. Неясно все же: сам по себе не свидетельствует или вообще не свидетельствует. Очевидно, что «сеньориальный срез» отношений не входит в концепцию феодализма американских компаративистов.

Чтобы стать сколько-нибудь плодотворным, сравнительно-исторический метод требует от буржуазной историографии отказа от узости представлений историко-правовой школы.

Наконец, Кулборн и его коллега Страйер допускают возможность возникновения такого строя и без внешнего завоевания, т. е. возникновение феодализма рассматривается не как результат упадка предыдущей цивилизации, а как ступень внутреннего развития обществ. Это обстоятельство они прямо подчеркивают: «Могут быть другие случаи возникновения феодализма непосредственно из более примитивного общества». Однако о характере подобных случаев мы почти ничего не узнаем. Поскольку же узость одного типа преодолевается с помощью узости другого типа, этот метод обрекает на блуждание в лабиринте противоречий. Можно согласиться с тем, что «ни одно статическое определение [феодализма] не может быть полностью удовлетворительным, ибо феодализм, подобно любой другой политической системе, непрерывно развивается. Статическое определение должно быть дополнено другим — в терминах динамических». Но значит ли это, что «динамическое» определение должно быть лишено конкретного содержания и поэтому в равной мере пригодным к характеристике любой формы общественного строя, как это делают названные авторы, предлагая определенное феодализма как «серию ответов на определенный род запросов». Но о каком общественном строе этого сказать нельзя? В такого рода ответе нет ничего специфически «феодального».

Компаративизм, лежащий в основе труда «Феодализм в истории», лишен важнейшей предпосылки — сколько-нибудь последовательной исторической концепции феода-

лизма, которая единственно может служить путеводной нитью при сопоставлении средневекового строя стран, столь далеко отстоящих друг от друга, как Франкское государство, с одной стороны, и Китай в период Чжоу — с другой. И как обычно в таких случаях, участники симпозиума хотели бы найти эту точку опоры в самом термине «феодализм». Но поскольку из него самого нельзя вычитать больше, чем в него заложено, они горько разочарованы тем, что даже самый тщательный анализ содержания этого термина совершенно не оправдывает подобных надежд. «Феодализм — неудачное слово», — цитирует Страйер английского историка права Мэтланда, — оно непригодно даже с точки зрения задач анализа одного лишь западноевропейского развития». Термин феодализм привлекает внимание лишь к одному элементу в сложной организации общества, к тому же — к элементу, который не является наиболее характерным для данного строя, так как зависимые и служилые держания были известны задолго до того, как возник самый термин, которым они позднее обозначались. И перед таким совершенно неадекватным термином поставлена совершенно невыполнимая задача: выразить содержание целой полосы всемирной истории».

Если именовать «феодальной» Каролингскую империю, то нужно другое слово, чтобы описать состояние западноевропейских стран в XI в. То же относится и к Франции XIII в., в которой еще была жива вся терминология феодализма. Но значит ли это, что взаимоотношения короля и знати регулировались на прежней «феодальной» основе? Классовая структура общества позднего средневековья была иной, чем структура общества раннего средневековья, но являлись ли они в равной степени «феодальными»? Наконец, сеньории 1000, 1200 и 1400 годов весьма различаются между собой, однако, кто скажет, какую из них признать типичной для «феодализма»? Феодализм, заключает Страйер, не является синонимом ни аристократии, ни крупного землевладения, ни зависимого держания.

Мы умышленно изложили с такой подробностью ход рассуждений одного из основных участников симпозиума для того, чтобы стала очевидной методологическая беспомощность типологии компаративизма, ибо на термин возлагается ответственность за все недостатки последнего.

В конечном итоге, складывается впечатление, что Страйер скорее знает, чем феодализм «не является», чем может определить его положительно.

Из всего изложенного уже нетрудно понять, почему историки, столь очевидно стремившиеся вырваться из плена формально-юридической трактовки «феодализма», не ухватились за единственную альтернативу — за то содержание, которым наполнило этот термин аграрное законодательство Французской революции, выдвинувшее на первый план сеньориальную власть над земледельцем. Очевидно, что именно та социальная структура, которая оказывается наиболее долговечной в средневековом обществе, должна рассматриваться как наиболее существенная для его функционирования как целого. Правда, такая постановка вопроса может вызвать возражение, заключающееся в том, что и сеньория, дожившая до конца XVIII в., не оставалась неизменной, что и в определении: «феодализм — сеньория» первый член предложения статичен, второй — динамичен.

Но не вправе ли мы предположить, что в статичности термина схватывается сама суть этого строя, столь же неизменная, как и сам термин? Так или иначе, упустив эту возможность, Страйер вынужден повторить чисто политическое определение феодализма, которое «динамично» именно потому, что оно лишено конкретного содержания: феодализм — форма управления. Это — теория соподчинения сеньориальных властей на местах, «кооперации» среди феодальных лордов, противопоставленная внешнему единству варварских королевств. Только основываясь на фикции политического единства, Страйер отказывается признать империю Карла Великого феодальной, поскольку еще существовала публичная власть и магнаты обладали политической властью в качестве уполномоченных короля, а не именем собственного права.

Феодализм, по его мнению, установился здесь в полу-столетие, следующее за временем правления Карла Великого, когда возникло феодальное управление, т. е. когда «отношение перевернулось» и частная власть стала олицетворением государства. Феодализм настолько упрощает структуру государства, что последнее низводится до уровня, который отражает сложившуюся экономическую ситуацию и социальную группировку людей. Феодализм «приводит к лучшим результатам» только там, где он

становится господствующей формой управления, формой правительства. В итоге феодализм снова сводится к политической раздробленности, к поместью-государству. То, что казалось столь обнадеживающим в самой постановке проблемы «повторяемости» и «единообразия» в истории, привело к определению, являвшемуся триумфом уже в конце XIX в.

Этим, однако, полностью не перечеркивается историографическое значение труда, созданного скорее с целью постановки по существу новых для традиционной буржуазной медиэвистики вопросов, нежели для окончательных ответов на них. Сравнительно-исторический метод, как известно, отнюдь не «изобретение» наших дней. Новым для современной буржуазной медиэвистики является лишь приближение к мысли о феодализме как наиболее универсальной всемирно-исторической фазе общественно-го развития.

Характерно, что на западноевропейской почве компаративизм в послевоенные годы, широко распространившись во многих областях исторического исследования, меньше всего затронул исследования юридически интерпретируемых феодальных институтов. В этой области реакция была обратной. Социально-историческое истолкование феодализма, обоснованное Блоком, среди буржуазных историков нашло гораздо меньше сторонников, нежели критиков. Прежде всего эту роль взяли на себя представители так называемой «современной школы» в ФРГ. В качестве иллюстрации позиции последних, остановимся на работе Отто Бруннера «Феодализм. Очерк смысловой истории»²⁵.

Бруннер опубликовал свою работу почти 30 лет спустя после уже известной нам работы Гинце. В его распоряжении находились труды Миттайса, Блока, американских компаративистов. Но его концепция феодализма от этого нисколько не стала богаче. Более того, Бруннер зовет назад от сравнительно-исторического и социологического рассмотрения феодализма к «юридическому» и «точному» его определению. Критикуя Гинце, он утверждает: если понятие «ленный строй» не исчерпывается термином «феодализм», то, наоборот, понятие «феодализм» вполне покрывается термином «ленный строй». Иными словами, Бруннер суживает понятие феодализм до предела более узкого, чем тот, который обозначен понятием «лен». При

этом Бруннер решительно подчеркивает единичность, уникальность западноевропейской ленной системы. Он пишет: «Специфическое значение западноевропейского ленного строя не может быть определено с помощью общего понятия «феодализм»... Макс Вебер тоже знал это понятие, однако из множества форм, так именуемых, он в применении к Западной Европе выделил одну истинную (echte) его форму, а именно — ленный феодализм».

Отдавая должное социологии Вебера, благодаря которой возникло более «многослойное» представление о типах феодализма, Бруннер в то же время решительно подчеркивает уникальность и несопоставимость западноевропейской феодальной системы. Познавательная задача, в его глазах, упрощается и уточняется только при условии, если применить понятие «феодализм» к ленной системе. Как только историк оставляет эту твердую почву, представление о феодализме становится настолько расплывчатым, что возникает вопрос, можно ли вообще определить, что такое феодализм.

Проследивая длительную смысловую историю термина «феодализм», Бруннер устанавливает, что он со времени Французской революции конца XVIII в. отождествлялся в историографии и в политической мысли то с сословным строем, т. е. с системой прав и привилегий, «уступленных государством» одним классам и не признаваемых за другими; то с политической монополией дворянства (Слейс: «дворяне — олицетворение феодализма»), т. е. с иерархически построенным аристократическим союзом территориальных господ; то с системой власти, основанной на личной зависимости человека от человека и рассматриваемой как наиболее нетерпимая форма рабства; то, наконец, с крупным землевладением — этим «несущим фундаментом феодального общества» («марксистское», по мнению Бруннера, восприятие).

В результате подобного анализа современная буржуазная медиэвистика оказывается в заколдованном кругу. Она снова и снова задается вопросом: что же такое феодализм, описывать ли его с помощью «группы» черт или путем выделения одной профилирующей черты? Может ли он вообще быть определен?

К скепсису приводит не столько множественность общественных «систем», которые под это понятие подводятся, сколько порочность метода анализа. Пример Брун-

нера как нельзя лучше иллюстрирует это положение. В самом деле, задавшись целью проанализировать эволюцию понятия «феодализм», Бруннер смешал воедино и историю научного словоупотребления (кстати, ее он меньше всего касается), и его популяризацию, использование термина «феодализм» различными классами и партиями в целях политической пропаганды, в публицистике. Сюда же присовокушилось и использование этого термина в буржуазной социологии, истории политической мысли, истории права. Естественно, что ничего, кроме путаницы, от такого рассмотрения «истории понятия» ожидать невозможно.

Как известно, в различные периоды в центре внимания историографии оказываются различные аспекты истории прошлого, в том числе и истории феодализма. Кроме того, историк волен посвятить себя изучению не целой структуры общества, а ее части. Однако это еще не значит, что правомерно целое свести к части или один из аспектов выдать за единственный. Именно этого, самого кричащего логического порока западной историографии не заметил Бруннер. Феодализм может быть определен юридически или политически, экономически или социально, он может выступать как сословный строй или строй политический, как система права или этики, он может, наконец, предстать как организация производства и распределения и как определенное «состояние человеческого духа» — веры, знаний, общественной психологии и т. д. Однако это еще не означает, во-первых, что существует столько определений феодализма, сколько аспектов его логического анализа; во-вторых, что каждое такое «частное определение» отрицает предшествующее или последующее и тем более исчерпывает содержание целого; в третьих, и это самое главное, — что все эти определения внутренне не взаимосвязаны и не обусловлены в конечном счете одним из них — «основным, определяющим аспектом». Весь вопрос заключается только в том, в чем усматривать последний.

Узость буржуазных концепций феодализма в том и проявляется, что в качестве определяющего аспекта феодализма называется такой, который в действительности являлся привходящим. Это видно наиболее наглядно из следующего: «черта» эта исчезала или изначально отсутствовала, а феодализм тем не менее оставался. Есте-

ственно, что такой аспект не только не охватывает общественную структуру в целом, он не затрагивает движущего принципа данного строя. В действительности все это только означает, что буржуазная историография, упорно отвергая марксистское понятие общественно-экономической формации, естественно, оказывается не в состоянии выработать свою логическую модель средневекового общества, которая позволила бы в многоликих конкретно-исторических обществах средневековья увидеть единую по своим основаниям и закономерностям общественную структуру.

Хотя Бруннер останавливается довольно подробно на экономических предпосылках и «основаниях» феодализма (хозяйственная структура, в которой преобладает земледелие, а обмен, существующий наряду с преобладанием натурального хозяйства, остается локально ограниченным), он делает это только в связи с изложением вопросов, которые поставлены перед наукой марксизмом.

Вообще марксистское определение феодализма толкуется Бруннером крайне односторонне и упрощенно, а именно — как понятие, возникшее под влиянием словоупотребления Французской революции. Поскольку феодализм во Франции XVIII в. был «остаточным» и сводился только к крупной земельной собственности, сеньориальной власти, последняя и в концепции революции конца XVIII в. и «тем самым» и в марксистской концепции выступает как определяющее начало, «слывет несущим фундаментом феодализма». Поэтому он подчеркивает, что в марксистской концепции может вообще идти речь о феодализме только постольку, поскольку установлен факт господства крупного землевладения и палочия зависимых от него людей.

Бруннер с этим не согласен. Решающим для средневековья является, по его мнению, не состояние (имущество), а сословность. Господствующий класс средневековья, дворянство, нельзя толковать так, как мы говорим о «зажиточном классе какого-нибудь XX в.». В средние века перед нами предстает «класс, политически господствующий над землей и людьми». Очевидно, что различие форм классового (и тем самым политического) господства буржуазии, с одной стороны, и феодалов — с другой, превращено Бруннером в аргумент против выведения политического господства феодалов из

особенностей их собственности. Во всяком случае, заключает он, «не землевладение составляло стержень феодализма», вне государственного и институционального аспекта понять феодализм невозможно. Но тем самым, после всех рассуждений Бруннера, мы остались без ответа на исходный вопрос.

Историки государственного строя (в его традиционных рамках, включающих и историю сословного строя), попросту говоря, не могут оперировать формально-юридическим определением феодализма. Впрочем, даже некоторые историки этого направления, сознавая чрезмерный «технизм» формально-юридического истолкования термина «феодализм», сами употребляют его не только в узком, но и в более широком социально-политическом значении. Так, западногерманский медиовист К. Босл пишет: «Феодальный строй, который мы зачастую сводим к вассалитету, возник на другой социально-политической стадии и с некоторыми изменениями продолжал существовать вплоть до начала XIX в.». Это признание не помешало ему несколькими строками ниже утверждать, что именно относительно X—XII вв. «можно со всей строгостью говорить о феодальном обществе», так как речь идет о «великой эпохе вассалитета». Такая, мягко выражаясь, эластичность понятий отнюдь не содействует их уточнению. Противоречие для него неразрешимо: формально-юридическое определение феодализма не охватывает общество в целом, между тем изучение государственного строя средневековой Европы то и дело требует более всеобъемлющих понятий («народ» и т. д.). Отсюда непоследовательность и противоречия в отправных определениях.

Примером тому служит точка зрения Босла: «Фьеф и вассалитет, — пишет он, — не являются единственными формами суверенитета или сюзеренитета... Феодализм также имеет и социальную сторону, вплоть до наиболее низкого уровня²⁶. Признание, заслуживающее внимания: речь идет о «сеньориальном аспекте» феодализма. Внимание Босла привлекает способ существования низших классов — крестьянских масс, городских общин. И хотя эти массы, в его глазах, всего лишь сырой материал истории — они пассивны и терпеливы, не принимая никакого заметного участия в политических и социальных судьбах страны, — тем не менее он вынужден признать,

что без них картина феодализма была бы неполной. Итак, содержание термина «феодализм» может значительно варьировать и даже оказаться противоположным, в зависимости, так сказать, от «специальных» интересов отдельных историков. Естественно, что вместе с содержанием феодализма варьируют и хронологические рамки строя, этим термином обозначаемого. Так, если исходную грань его Босл усматривает в VIII в., то конечную он относит к началу XIX в. Наряду с этим, как мы видели, он знает и другую хронологию, более «строгую», более «точную» — X—XII вв., т. е. время расцвета ленной системы. Однако для целей его исследования она не годится.

Верными себе остаются только историки вассально-ленных отношений, поскольку для целей, ими преследуемых, вполне достаточно истолковать термин «феодализм» в полном соответствии со словоупотреблением средневековых февдистов, т. е. как синоним этих отношений. Самодовлеющий характер вассально-ленной системы, в освещении историков этого направления, поистине доведен до предела. Наиболее ярко это направление представлено в Западной Европе в трудах бельгийского историка Ф. Гансхофа²⁷, английского историка Ф. Стентона²⁸, а за океаном — в трудах К. Стефенсона²⁹, Р. С. Хойта³⁰ и т. д.

В широко известной работе «Что такое феодализм?» Гансхоф предупреждает, что его будет интересовать феодализм в «тесном», «техническом», «юридическом» смысле слова, т. е. в качестве обозначения института «феодально-вассальных» отношений. Столь же строго ограниченными являлись, по его мнению, и территориальные и хронологические рамки этого института: в первом случае это — район между Луарой и Рейном («колыбель феодализма»), во втором случае — речь идет о трех столетиях (X—XII вв.), исчерпывающих по существу всю историю этого института. Мы уже имели случай заметить, что историк может изучать при желании отдельно взятый институт, и, надо признать, Гансхоф с этой точки зрения выполнил свою задачу мастерски. Поражает другое: совершенно искреннее убеждение в том, что этот институт может быть объяснен «сам из себя», без той почвы, которая его взрастила и питала, и в частности, что история вассально-ленных отношений даже не нуждается в простом упоминании, не говоря уже об анализе, отноше-

ний крестьянско-вотчинных — это «миры» сосуществующие, но абсолютно разные.

В то же время представляется само собой разумеющимся, что, например, без связи с историей средневековой сеньории не могут быть объяснены главнейшие факты истории вассально-ленных отношений, хотя бы такие, как бенефициальная реформа Карла Мартелла или слияние бенефиция и вассалитета. А между тем Гансхоф ни разу не испытал нужды даже в кратких экскурсах в другие области жизни. Точно так же и Ф. Стентон в своем труде «Первый век английского феодализма» (1066—1154 гг.) смог обойтись даже без упоминания манориального строя. Его интересовали лишь отношения, основанные на вассальном договоре, — они и исчерпывают для него все содержание феодализма.

В плену формально-юридической концепции феодализма в большей или меньшей степени находится вся современная буржуазная историография. Даже в тех случаях, когда историка интересует не юридический аспект феодального общественного строя, а его политическая, конституционная, военная и иные стороны, юридизм исторического мышления в конечном счете становится решающим фактором (мы сказали бы, препятствием) исследования.

Типичным примером в этом отношении можно считать точку зрения американского медиевиста Р. С. Хойта. И это потому, что его интересовала прежде всего политическая сторона истории феодализма. По примеру других Хойт отдает себе отчет в том, что выработка сколько-нибудь удовлетворительного определения понятия «феодализм» является «исключительно трудной задачей» современной исторической науки. Этому мешает многозначность термина в научном и общественно-политическом обиходе. В современной политической публицистике, например, он фигурирует в качестве нарицательного обозначения социальной иерархии, сословного неравенства, монополии власти, угнетения и тому подобных социальных зол, характерных не только для средневековья, но и для современного буржуазного общества. «Мало слов в английском языке, — подчеркивает Хойт, — столь плохо поняты и ими столь злоупотребляют, как прилагательным феодальный». Сам Хойт, однако, мало содействует очищению этого термина от многочисленных и не всегда

научных наслоений. Историческая роль феодализма сводится для Хойта, как и для американских компаративистов в целом, к решению главным образом политической задачи: воссоздание политического порядка в условиях общественного хаоса, воцарившегося в Западной Европе в определенную полосу ее истории. Цель эта в тех условиях достижима только с помощью феодальных институтов, основными из которых являлись: вассалитет, фьефная система и частная юрисдикция. С их помощью были достигнуты военная безопасность, социальная стабильность и восстановление политической власти (хотя все это имело место лишь на региональной, областной основе). Вот почему, по мнению Хойта, «истинно феодальное общество» было на европейской почве достигнуто только в начале XI в.

Рост феодализма, заключает Хойт, был обусловлен ослаблением центральной власти. Феодализм — не причина децентрализации, а ее следствие и вместе с тем — средство, к которому прибегают с целью ее преодоления.

Однако на вопрос: чем же объясняется ослабление центральной власти и процесс политического распада (наступивший в Западной Европе, если принять хронологию Хойта, за несколько столетий до созревания феодального строя), мы слышим в ответ, что тому виной те же феодальные институты. Круг замкнут. Это заметил и Хойт, ибо совершенно неожиданно он стал отличать «феодальное общество» от «феодальных институтов».

Феодальным, по мнению Хойта, является лишь то общество, в котором феодальные институты оказались столь полезными и важными, что они контролируют его политическую и социальную организацию. Крайняя расплывчатость такого различия очевидна, ибо в конечном счете главным признаком феодализма остается степень развития вассалитета и лена. Поскольку Хойт знает лишь те же феодальные институты, которые традиционны для историко-правовой школы — вассалитет, бенефиций, иммунитет, — то приведенное различие вообще не продвигает нас ни на шаг вперед.

Но далее: как можно называть эти институты «основными» и в то же время считать, что они сложились безотносительно к самым глубинным социальным процессам? Одно из двух: либо эти институты (вассалитет, ленная система и др.) в действительности не яв-

лялись решающими, определяющими для феодального строя, — такова именно точка зрения марксистской историографии, — либо нельзя связывать степень влияния феодальных институтов (или, точнее: нельзя судить об этой степени) на организацию общества с одним лишь критерием, как это делает, в частности, Хойт, — с состоянием центральной власти.

Называть общество времени Карла Великого дофеодальным только на том основании, что центральная власть внешне еще контролировала управление страной, столь же неправомерно, как и считать, что феодализм был привнесен в Англию лишь нормандским завоеванием 1066 г. (последнее неправомерно даже с точки зрения самого Хойта), так как феодальные институты и после этого события не сочетались здесь с ослаблением королевской власти.

Итак, очевидно, что прогресс, достигаемый признанием Хойтом различия между вассалитетом и ленной системой, с одной стороны, и «феодальным общественным строем» — с другой, сводится на нет исключительно политическим критерием определения последнего. Это, в частности, проявляется в утверждении Хойта, что только феодальная знать — примерно 10% (по его мнению) населения западноевропейских стран — была причастна к феодализму, так как только ее жизнь регулировалась феодальным кодексом. Абсолютное же большинство населения ничего общего с ним не имело. Это большинство странным образом могло жить «в феодальном обществе» и одновременно не быть причастным к нему. Феодализм, заключает Хойт, непосредственно затрагивает лишь господствующие классы.

Как видим, формально-юридическое мышление довлеет даже над теми буржуазными учеными, которые приняли, хотя бы на словах, концепцию о существовании в средние века феодального общества. Ибо, как только они сталкиваются с необходимостью определить основание этого общества, на поверхность немедленно всплывают традиционные «феодальные институты», которые оказываются в конечном итоге определяющими. Отсюда аргументация Хойта: поскольку крестьяне, ремесленники, низшее духовенство и т. д. фьефов не держали, не становились вассалами и не обладали частной юрисдикцией, — они ничего общего с феодализмом не имели. Дру-

гими словами, вслед за историками юридического направления Хойт отрицает феодальный характер основного общественного отношения той эпохи — производственного отношения. И это на том основании, что оно не входило в сферу регулирования — лежало ниже ее — вассаленного договора и формально им игнорировалось.

Тем самым Хойт оказывается перед рядом неразрешимых противоречий. Во-первых, при таком рассмотрении оказывается, что феодальное общество зиждется на нефеодальном основании; во-вторых, что различные классы одного и того же общества живут в условиях различного общественного строя. Общество как нечто единое и взаимосвязанное исчезает. Непонятно и необъяснимо, как же можно вообще говорить о феодальном обществе, если тут же из его состава исключается абсолютно преобладающая его часть?

Нельзя сказать, что историки этого направления не сознавали неудобства столь ограниченного истолкования термина «феодализм», давно ставшего даже в исследованиях ряда буржуазных ученых инструментом неизмеримо более широкого и глубокого анализа средневековья. Так, французский историк Р. Бутрюш на словах — рьяный сторонник строго юридической интерпретации термина «феодализм». «Могут возразить, — пишет он, — что вопросы терминологии не имеют большого значения и что мы воюем с ветряными мельницами. Нам это, однако, представляется иначе. Обозначать одним и тем же термином не только все связи зависимости, но и общества и институты, которые ничего общего с феодализмом не имеют, значит ...вуалировать путаницей слов непонимание вещей. Мы настаиваем на том, что без вассального договора, без фьефа, без социальной и политической организации, основанной на личных связях особого рода (!), нет феодального строя».

Однако в своих работах Бутрюш не смог обойтись без сеньории. Выход из этого очевидного противоречия он нашел чисто словесный — назвал свою книгу «Сеньория и феодализм». Этим он достигал, как ему казалось, двух целей. Во-первых, демонстрировал «верность академической традиции», давая понять, что продолжает считать сеньориальные институты нефеодальными; во-вторых, показал, что при таком суженном понимании феодализма последний не охватывает всей структуры об-

щества и нуждается в весьма существенном дополнении. Этот терминологический пуризм лучше всего свидетельствует о признании того, что без сеньории феодализм не может быть понят в своем существе. Но если сеньория — истинный базис феодализма, то, следовательно, она и есть феодализм в самом существенном смысле этого слова.

Подведем некоторые итоги.

1. Концепция феодализма в буржуазной историографии претерпела за последние два-три десятилетия значительную эволюцию, отражающую известным образом эволюцию историко-философского подхода к предмету истории как науки. В результате мы можем констатировать наличие не одной, а по существу нескольких концепций. Основные из них: формально-юридическая, которая сводит историю феодализма к истории вассально-ленных отношений; государственно-правовая, отождествляющая феодализм с методом конституирования власти в условиях отсутствия публичных средств власти; и наконец, социально-историческая, которая в лице Блока приблизилась к пониманию феодализма как строя, основанного на эксплуатации класса земледельческого классом рыцарским. Однако преобладающими в буржуазной науке наших дней несомненно являются первые две из указанных концепций.

2. В соответствии с эволюцией самого толкования феодализма в буржуазной историографии видоизменялся метод изучения средневекового строя. Наряду с традиционным европоцентристским, а точнее — западноевропейским, взглядом на феодализм как на уникальный и неповторимый строй, порожденный «германо-романским миром», в современной буржуазной историографии, особенно в медиэвистике США, утверждается метод сравнительно-исторический. Приверженцы его стоят на точке зрения, близкой к универсально-историческому толкованию характера феодализма, признавая его повторяемость и распространенность далеко за пределами Европы. По сравнению с европоцентристским подходом к изучению проблемы школы компаративистов несомненно имеет ряд преимуществ, обусловленных более широким полем исторических наблюдений. Методологии индивидуализации компаративисты противопоставляют концепцию стадийальных аналогий. И хотя эти стадии в их интерпретации — всего лишь стадии своеобразного круговорота цивилизаций, хотя фео-

дализм истолковывается ими чисто политически, подход компаративистов к проблеме (однако отнюдь не решение ее) предпочтителен по сравнению с воззрениями и приемами формально-юридического направления западноевропейской медиэвистики. Современный компаративизм в интересующей нас области внутренне противоречив: он постулирует «всемирно-исторический» подход к изучению общественных явлений, на деле же он глубоко антиисторичен, так как по существу отрицает историческую закономерность и вместо поступательного развития общества констатирует циклические «анalogии» вневременного характера.

В заключение следует подчеркнуть, что и марксистская историография признает трудность универсального определения «характерных черт» феодализма. Дело заключается в том, что этот строй отличается крайней многоликостью конкретно-исторических форм — системных (институты) и функциональных (отношения). Эти различия обусловлены: 1) различными путями перехода к феодализму — на почве синтеза изживших себя рабовладельческих и первобытнообщинных институтов с различным удельным весом тех и других; на основе «имманентного» внутреннего развития и изживания родоплеменных строя; наконец, на основе перенесения феодальных институтов из одной страны в другую в готовом виде, т. е. из стран феодализированных в страны, ими покоренные (из Франкского государства в Саксонию, из Англии в Ирландию и т. д.); 2) различными формами феодальной собственности (частно-вотчинной и государственной, «азиатской» или смешанной); 3) различными формами политической организации (государство централизованное, государство — федерация слабо связанных территориальных княжеств, различные формы монархии и города-республики).

К тому же феодальные отношения максимально «зашифровывают» способ производства, затемняют его суть, вуалируя и мистифицируя его юридическими, политическими, этическими, духовными институтами. И все это потому, что феодальные производственные отношения при всей их внешней конкретности всегда выступают опосредствованно, воспринимаются, так сказать, «наизнанку». Так, экономическое господство выступает в качестве политического верховенства, экономическая зависимость

скрыта за институтом юридической зависимости, личная зависимость, в свою очередь, скрыта за концепцией «личной верности» или «подданства», земные установления выступают как «божественный порядок» и т. д. К тому же все эти формы весьма подвижны и изменчивы во времени: «ранний феодализм» и «поздний феодализм» весьма далеко отстоят друг от друга.

В результате ни одно статическое определение характерных черт феодализма не может приобрести универсального значения ввиду того, что оно не вмещает всего многообразия всемирно-исторического процесса и поэтому оканчивается в конечном итоге лишь «отвлечением» от какой-либо одной конкретной и по необходимости локальной и статической формы «феодализма».

Универсально-историческая концепция феодализма может быть достигнута лишь на почве методологии марксизма, позволяющей проникнуть в самую суть базисных, общественно-экономических отношений этого общества.

ГЛАВА II. ПРОБЛЕМЫ ГЕНЕЗИСА СРЕДНЕВЕКОВОЙ ВОТЧИНЫ

Вотчина, сеньория¹, манор — это всего лишь различные обозначения одного и того же, поистине фундаментального института западноевропейского феодального общества. Разнотипность этого института, даже в пределах столь узкого ареала (в сравнении с ареалом развертывания феодальной общественно-экономической формации в целом), не может служить препятствием при попытке определить его универсальную сущность, тем более что за внешним различием форм вотчины отчетливо вырисовывается ее функциональная однозначность. С последней точки зрения вотчина может быть определена как территориально очерченная организация непосредственного господства каждого члена феодальной иерархии, через которую реализуется извлечение им определенной доли феодальной ренты.

Поскольку достижение этой цели составляло подлинную движущую пружину феодальной организации общества, поскольку она могла быть достигнута лишь при условии подчинения ей различных сторон общественной жизни (хозяйственной, социальной, политической и т. д.) в пределах подвластной сеньору территории, постольку в средневековой вотчине в большей или меньшей степени перекрещивались все указанные стороны общественного строя. Именно это позволяет усматривать в вотчине «образующую клетку» феодальной структуры общества. Так как эта «клетка» была столь многозначной, то при желании легко выделить множество аспектов ее в качестве объектов самостоятельного рассмотрения: вотчина как хозяйственный институт, как форма феодальной собственности, как социальная организация, как юридический

институт и т. д. Основное различие между марксистской и буржуазной историографией в этой области в том и заключается, что при выделении всех аспектов изучения средневековой вотчины первая не упускает из виду основное — классово-антагонистический, эксплуататорский характер сеньориальной организации. Под пером же буржуазных историков каждая из указанных сторон превращается в суть целого. Иными словами, в то время как марксистская историография усматривает в характерных чертах средневековой вотчины прежде всего олицетворение производственных отношений при феодализме, буржуазная историография предпочитает доискиваться объяснения специфики вотчинной организации вне этих отношений, в ее внешней «среде», «функциях» и т. п.

Однако если отвлечься от этого основного различия в самом подходе к изучению средневековой вотчины, характерном более или менее для всей буржуазной историографии, то придется указать на наличие в ней множества «школ» и направлений, различающихся своими взглядами по кардинальным вопросам истории вотчины. Наиболее актуальной по сей день остается проблема генезиса феодальной вотчины. В отношении стран Западной Европы речь идет прежде всего о следующем: а) можно ли рассматривать средневековую вотчину как простое продолжение аграрного строя поздней Римской империи? б) можно ли считать, что аграрные порядки древнегерманских племен на рубеже нашей эры уже определялись вотчинным строем, т. е. были, если не по форме, то по существу тождественны позднеимперскому? Одним словом, была ли феодальная вотчина унаследована средневековым, или же она сложилась в его рамках из различных элементов, каждый из которых, взятый сам по себе, не имел ничего общего с феодализмом в собственном смысле?

Как это имеет место и во многих других областях истории средневекового общества, современные дискуссии по проблемам, нас интересующим, уходят своими корнями в историографию XIX в.

К концу 30-х годов нашего столетия в буржуазной историографии сосуществовали три основные концепции по вопросу о происхождении сеньориального строя в Западной Европе: во-первых, классическая вотчинная теория (сочетавшая истолкование генезиса вотчины с марксовой теорией); во-вторых, новая вотчинная теория (ис-

ключавшая полностью марксовую теорию) и, наконец, допшианство, стремившееся «уравновесить крайности» последней.

Сложившаяся в эти годы концепция Блока² должна была, по замыслу ее создателя, преодолеть односторонность всех ранее существовавших концепций. Отсюда и универсализм, и известный эклектизм его воззрений.

Как уже отмечалось, Блок очень часто отдавал дань формальному юрицизму, отказываясь не только признать сеньорию олицетворением феодального строя, но и вообще рассматривать ее в качестве собственно феодального института. Но в этом сказывалась скорее словесная дань буржуазному академизму, чем воплощалась внутренняя логика его построений. Иначе не мог бы он усмотреть в вотчине «экономический аспект» феодальной системы, ее основу. Средние века, подчеркивал он, в качестве общеевропейского феномена знали скорее сеньорию, чем феодализм в «строгом смысле» этого слова. Можно считать правилом, что страна, не знавшая сеньории, в то же время являлась страной без вассалитета. Из этого вытекало невольное признание, что вассалитет в конечном счете — надстройка над сеньорией. Сеньория разрывалась внутренним дуализмом: она была 1) организацией вотчинной, цель которой заключалась в доставлении сеньору ренты, и 2) организацией общинной, предписывавшей своим членам хозяйственные распорядки, независимые от вотчины и, более того, обязательные для нее. Тем самым сельская община проявлялась как первичное образование, сеньория же — как вторичное.

В странах, некогда подвластных Риму, сеньория рассматривалась Блоком как институт, в значительной степени унаследованный, преемственный. В наделах, именуемых «сервильными», подчеркивал он, легко еще рассмотреть процесс дробления римской латифундии с целью помещения рабов на землю. В положении колоннов IX в. запечатлелись многие черты позднеимперского колоната. Наибольший интерес для науки представлял вопрос о происхождении держаний свободных.

Именно в этом важнейшем вопросе Блок решительно отходит от построений «новой вотчинной теории», в частности Допша. Абсолютное большинство свободных держателей вотчины — потомки искони свободных земледельцев, столь же древних, как само земледелие. Поэтому

центральной проблемой социальной истории раннего средневековья, в особенности для стран, «слабо и вовсе не романизованных», является процесс сеньориализации свободной и независимой крестьянской общины (т. е. подчинение ее принудительной и обременительной власти сеньора). Истоки этого процесса Блок усматривает уже в разложении родовых отношений. Так, к примеру, истоки сеньориальных повинностей он видит в тех подношениях старейшинам и военным предводителям, которые члены племени делали сначала добровольно и которые со временем превратились в регулярные и обязательные повинности.

Разумеется, что при таком рассмотрении процесса сеньориализации свободных земледельцев из поля зрения выпадает целый исторический период, содержанием которого являлось становление вовсе не феодальной собственности сеньоров, а аллодиальной собственности земледельцев. Феодализм вырастает не из родовой общины, а из территориальной сельской общины-марки. Там же, где родовой (племенной) строй «консервируется» и продолжает в той или иной степени определять социальную организацию крестьянства (Фризия, Дитмаршен, Ирландия, до известной степени Скандинавия), процесс становления сеньории до крайности заторможен и настолько деформирован, что она вплоть до IX—XI вв. остается эмбриональной. Этот факт отмечен самим Блоком, хотя и оставлен им без должного объяснения. Однако при всем этом несомненной заслугой Блока остается то, что спустя полстолетия после выступления на арену историков «критического направления» он снова поставил в центр внимания науки процесс сеньориализации сельской общины раннего средневековья.

Основным фактором, обусловившим становление вотчины к востоку от Рейна и завершение этого строя — к западу от него, являлся, по мнению Блока, фактор политический: упадок королевской власти, распространение иммунитета, превращение королевских агентов (графов, вице-графов и др.) в сеньоров, с одной стороны, и превращение сеньоров в носителей публично-правовых функций — с другой. Основным орудием этого процесса было, полагал Блок, открытое и скрытое насилие. Известно, сколь настойчиво историки «критического направления» вытравляли самую мысль о «насилии» как

средстве подчинения свободных земледельцев сеньории. Блок и здесь остался верен концепции «докритической» поры. В частности, в восточнофранкских областях, подчеркивал он, включенных в Каролингскую империю, графы, епископы, аббаты вели себя так, как будто подвластные им жители с их имуществом — их собственность. Повсюду эти господа охотились не за землей как таковой, а за титулом собственности на надель ранее независимых аллодистов, влекшим за собой несение повинностей и служб в пользу его носителя. Их цель заключалась, таким образом, не в том, чтобы согнать мелкого хозяина с земли, а в том, чтобы превратить его в зависимого держателя «чужой» земли. Знал Блок об этом или нет, но он повторил в данном пункте формулировку Энгельса об «апроприации» крестьянина земле как содержании процесса феодализации. Что же касается западнофранкских областей, то здесь Блок был склонен рассматривать подобного рода процессы как привходящие, поскольку вотчина здесь в значительной мере была унаследована средневековьем.

Наконец, в процессе возникновения сеньории Блок придавал важное значение психологической обстановке, созданной в странах Западной Европы набегами норманнов, венгров, арабов, обстановке, толкавшей человека, независимо от места его на имущественной лестнице, на поиски «другого человека», чтобы получить защитника и покровителя. Все готовы были признать себя «человеком» могущественного соседа, т. е. зависимым. С этой точки зрения он рассматривает становление сеньории как аналогию становления вассалитета. Победа сеньории, заключал Блок, обусловлена теми же причинами, которые предопределили и успехи вассалитета и фьефной системы (см. выше, гл. I).

Очевидно, что принять такую точку зрения значит сойти с почвы объективного социального анализа на почву «психологического» объяснения истории. Поиски «господина» в среде сословия сеньоров диктовались необходимостью сплотиться с целью удерживать в подчинении угнетенных крестьян. В среде же крестьян ведущим следует признать стремление избежать полного разорения или, в крайнем случае, урегулировать гнет и умерить произвол со стороны могущественных соседей и королевской администрации. Причины внешне одинаковых актов

подчинения оказываются, таким образом, не только различными, но противоположными.

Итак, на «почве Галлии» Блок очень близок к Фюстель де Куланжу и Сэ в трактовке вопроса о происхождении домениальной системы (т. е. системы барщинной вотчины) и решительно отходит от них в вопросе о происхождении крепостного крестьянства и сеньориальной власти. Точно так же «на почве Германии» Блок приближается к так называемой «новой вотчинной теории», когда он усматривает корни средневековой зависимости в общественном строе древних германцев (отношения между старейшинами и рядовыми членами рода), и столь же резко отходит от нее в ответе на вопрос о происхождении самого вотчинного строя средневековья. И в том и другом случаях Блок вводит в рассмотрение процесс сеньориализации крестьянской деревни, сущностью которого было феодальное подчинение независимых до тех пор мелких аллодистов. Именно поэтому концепция Блока при всех ее методологических недостатках была прогрессивным явлением в буржуазной медиевистике в период между двумя мировыми войнами. Ее значение заключалось еще в том, что она оказала огромное влияние на прогрессивно мыслящих историков далеко за пределами Франции.

Под влиянием Блока находился французский исследователь Анри Делеаж³, предпринявший в начале 40-х годов попытку создать оригинальную концепцию происхождения средневековой сеньории. Хотя фактической основой этой концепции послужил материал, относящийся к одной лишь области Франции — Бургундии, в ней, как ни странно, воплотился его замысел всемирно-исторического построения.

Вслед за Блоком Делеаж усматривал в сеньории институт, специфический только для средневековья и, следовательно, возможный лишь при наличии определенных условий. Это исключало самую возможность рассматривать средневековую сеньорию в качестве простого продолжения только древнеримских или только древнегерманских порядков. Определяющими чертами этого института Делеаж считал: 1) такую хозяйственную организацию крупного землевладения, при которой господский домен обрабатывается даровыми руками держателей зависимых наделов (мансов), т. е. домениальную систему

(régime domanial); 2) наличие в ней не только поземельной зависимости держателей, но и личной их зависимости от «господина земли»; наконец, 3) наличие в руках сеньора определенной доли «государственных» функций в отношении и тех жителей сеньории, которые не являются его держателями.

Отсутствие хотя бы одной из этих черт исключает возможность считать крупное землевладение сеньорией. Так, римские латифундии даже после испомещения рабов на землю не превратились в сеньории, так как рабы — собственность латифундиста. Что же касается колонов, то они «приписаны к земле» государством, и, таким образом, между ними и господином нет уз личных связей. С другой стороны, у древних германцев и кельтов имелись уже сложившиеся связи личной зависимости (клиента, дружина), но в то же время отсутствовала «домениальная вотчина». Таким образом, Делеаж приходит к выводу, что сеньория могла возникнуть только в результате сложного синтеза дотоле разрозненно существовавших элементов ее (разрозненно потому, что относились к различным этническим цивилизациям). Однако перед нами в данном случае не простое повторение прежних концепций. Речь идет, во-первых, отнюдь не о «традиционных» для медиевистики римских и германских элементах и, во-вторых, не о периоде их интенсивного взаимодействия (V—VI вв.).

К сожалению, Делеаж не дал точного этнического определения цивилизаций, взаимодействовавших при генезисе сеньории, ограничившись тем, что одну из них назвал средиземноморской, а другую — континентальной. Первая проникла в Галлию через Северную Африку и Испанию, т. е. с юго-запада, а вторая — с северо-востока. Дату их столкновения Делеаж отнес к эпохе бронзы и раннего железа! В исторические времена одну из них представляли римляне, а другую — германцы и кельты. Средиземноморская цивилизация знала не только крупную земельную собственность, но и деление ее на домен и держания — или, иначе, — хозяйственную структуру сеньории. С другой стороны, кельты и германцы знали узлы личной зависимости — клиентелу и систему военных дружин. Таким образом, Делеаж по существу снял националистический налет с традиционно-романистских и германистских точек зрения, изобразив предпосылки средневековой

сеньории в качестве доисторических фактов, а римлян и германцев — в качестве воспреемников не ими созданных предпосылок.

Обоснование этой концепции Делеаж усмотрел в наличии в Бургундии исторических следов двух типов сельского поселения: северо-восточного (компактные большие деревни) и юго-западного (малые деревни, приближающиеся по типу к хуторскому поселению). Каждому из этих типов соответствовала своя система полей: в первом случае — система открытых полей, с узкими, длинными полосами отдельных владельцев, разбросанных по конам, в другом — огороженные компактные, короткие и приближающиеся по конфигурации к квадратам поля. Как мы вскоре увидим, эта точка зрения (восходящая к Блоку), связывавшая систему полей с этнической принадлежностью их возделывателей, ныне оставлена большинством медиевистов. Однако Делеаж отнюдь не склонен считать общинные порядки землепользования, олицетворявшиеся в средние века маркой, исконными. Территориальная община, подчеркивает он, начала складываться только к концу X в. Она вотчинного происхождения, ибо сложилась на почве совместного пользования общими угодьями, уступленными вотчиной зависимым держателям, наряду с пахотными наделами. Эта община лишена каких-либо производственных целей, т. е. она не может восходить к каким-либо иным формам землепользования, кроме индивидуальной, семейной. Что же касается неоднократных упоминаний в источниках об «общей земле» (*terra comunis*), то речь идет в таких случаях о так называемой «семейной общине», т. е. совместном владении (братьями, сестрами) неподеленным двором и наделом. Однако эта «семейная община» фактически является индивидуальной формой землевладения, поскольку речь идет об отдельно взятом хозяйственном дворе. Во франкский период, таким образом, единственной формой общины являлась «семейная община», а не марка. Нетрудно увидеть, что Делеаж в отрицании довотчинного происхождения общины-марки не очень оригинален. Он многое позаимствовал не только у своего соотечественника Фюстель де Куланжа, яростного врага марковой теории, но и у Допша.

Противопоставление «семейной» общины сельской не выдерживает никакой критики, ибо первая исторически (если иметь в виду «большую семью») относится ко вто-

рой как ступени развития одного и того же института. Так называемая «патриархальная семья» раннего средневековья может рассматриваться лишь в качестве (и на почве общины-марки) того хозяйственного коллектива, который в других условиях и в другой форме проявления воплощается в родовой общине. Сельская же община-марка была историческим преобразованием последней. Наконец, Делеаж отрицает наличие резких классовых делений в бургундской деревне IX—XI вв. Один социальный класс, отмечал он, незаметно переходил в другой. Деление крестьян на свободных и крепостных также было относительным; все они были более или менее свободными, более или менее зажиточными. Такова вкратце концепция Делеажа, стремившегося соединить воззрения Блока с элементами допшианства.

В течение четверти столетия (1940—1965) в изучении истории средневековой сеньории произошли крупные сдвиги — как в общих воззрениях, так и в самой методике исследования. И хотя отнюдь нельзя сказать, чтобы новые концепции, гипотезы и методика во всех случаях означали подлинный научный прогресс, советская медиевистика не может только по этой причине пройти мимо этих сдвигов, ибо в них отражаются закономерные тенденции в развитии не только современной западноевропейской медиевистики, но и исторического мышления в целом.

Один из несомненно прогрессивных методических сдвигов, которыми отмечены послевоенные исследования по истории средневековой сеньории, заключается в исключительно пристальном внимании к ранним фазам сельскохозяйственного производства, к истории агрикультуры в самом широком смысле слова. Долголетнее и в общем малоплодотворное (после значительного прогресса в последней трети XIX в. и в самом начале XX в.) увлечение исследователей историко-юридической (или институциональной) стороной средневековой сеньории убедило даже самых закоренелых приверженцев этого направления в том, что из одних архивных источников, учитывая их состояние (фрагментарность, случайность, неясность), не вычитать реальную действительность социальной жизни. Все яснее становилось сознание того, что от исследователя в таком случае ускользает что-то очень важное, может быть решающее условие разгадки все еще не решенных вопросов.

Так родилось новое, ныне очень распространенное на Западе направление в историографии сеньории, в центре внимания которого находится история сельскохозяйственного производства — агрикультуры, сельскохозяйственной техники, скотоводства и т. д. Решающий толчок в этом направлении, как и в ряде других, был дан Марком Блоком. Его книга «Характерные черты аграрной истории Франции» явилась своего рода методическим манифестом этого направления, указав на новые источники, новые исследовательские методы и приемы изучения отдаленных эпох аграрной истории в широком смысле слова.

Изучение межевых карт, в которых фиксирована система землепользования (последняя является актом далеко не произвольным, а обусловленным в значительной мере естественными условиями в сочетании с приемами традиционной техники земледелия), — отправной пункт этой методике. Требуя от историка наблюдений на местности, умения читать на ней явные и скрытые следы прошлого, Блок отнюдь не отрицал ценности архивного материала. Наоборот, он подчеркивал, что только сопоставление последнего с сельскохозяйственным пейзажем, с данными других наук и делает их содержание действительно доступным науке. Решающее условие успешного продвижения в этом направлении — объединение усилий специалистов в области истории, исторической географии, археологии, палеоботаники и др.

Наконец, Блок выступил и глашатаем сравнительно-исторического метода в изучении средневековой сеньории. Его оправданность вытекает хотя бы из того, что естественно-географические условия, диктующие средневековому земледельцу не только структуру полей и хозяйства, но и форму поселения, отнюдь не совпадают с современными государственными (национальными) границами. Лишь перешагнув через последние, историк может установить общее и особенное в истории интересующего его района.

Это научное завещание Блока воспринято и усвоено не только историками Франции, но и других стран Западной Европы. Однако наибольший прогресс в этом направлении все же отмечается во Франции. Здесь достигнута исключительно тесная связь между историко-географическими и аграрно-историческими исследованиями. В центре внимания этой школы находятся: историческое

развитие аграрного ландшафта, системы полей, лесов и пастбищ, водных артерий, дорог, история плуга, отдельных сельскохозяйственных культур, история скотоводства, промыслов, история сельского поселения⁴.

Можно было бы при желании указать на постепенное формирование подобного же направления и в историографии других стран. Аэрофотосъемки, картография и аграрная археология становятся в наши дни обычными методами аграрно-исторического исследования. Все большим подспорьем для социальной истории сеньории становятся историческая лингвистика и топонимика. Наконец, следует указать на все большую популярность в арсенале современного историка графических и статистических методов обработки и обобщения данных исследования.

Отмечая несомненный прогресс в самой методике и технике исследования, мы вместе с тем не можем пройти мимо отчетливо выраженной тенденции новейшей буржуазной историографии отвлечься в аграрно-исторических исследованиях от социального аспекта, разорвать то, что было органически слито и взаимообусловлено. Результатом этой тенденции является превращение истории крестьянства либо в историческую этнографию, либо в историю агрикультуры, либо, наконец, в историю сельскохозяйственной экономики⁵.

Разумеется, история ландшафта, сельских поселений, системы полей и агрикультуры в целом, равно как и история экономической конъюнктуры эпохи, требует специальных и развернутых исследований. Однако столь же очевидно, что историк не может безнаказанно вырывать эти стороны хозяйственного обихода из социального контекста эпохи, не может без непоправимого ущерба для научных результатов такого исследования отбросить социально-историческую призму рассмотрения процесса производства, в особенности в земледелии. Конечно, не требуется большого труда для обнаружения в условиях средневековья преобладания «незапамятного» обычая над «практикой», традиции — в поведении, способе оценивать и поступать в различных ситуациях. Однако подлинная тайна заключается в том, каким образом общество той поры все же оказывается способным к движению и изменению. Первое может отметить и этнолог, второе дано вскрыть только историку. Процесс обновления системы, регулирующей со-

циальную практику, не может быть изучен в отрыве от последней.

Однако только что отмеченная тенденция не стала всеобщей в современной буржуазной историографии. С ней сосуществует социально-историческое направление, в котором социальная история и аграрная история сеньории более уравновешиваются (Постан, Бутрюш, Дюби, Перрен, Фуркен, Фоссе и др.). Самым значительным сдвигом, которым новая историография обязана этому направлению, является стремление посредством права, с помощью актового материала, материала цензов, картуляриев, в сочетании с данными археологии, демографии, исторической географии проникнуть в процессы социально-экономические.

Так или иначе, интенсивные аграрно-исторические исследования в широком понимании этого слова являются характерной чертой современной западной медиевистики. В последнюю четверть века в Англии, Франции, Западной Германии, Голландии предприняты опыты создания как национальных, так и общеевропейских аграрных историй. В Англии, Западной Германии, Франции издаются специальные журналы по аграрной истории и аграрной социологии⁶.

Разработка проблем социальной истории средневековой сеньории в послевоенной буржуазной историографии велась двумя основными путями. С одной стороны, увеличилось число локальных исследований, в которых на основе комплексных методов воссоздавалась пространственно ограниченная, но глубоко эшелонированная во времени картина этой истории (Финберг, Хоскинс, Женико, Доллингер, Буссар, Веррье). С другой стороны, увеличилось и число синтетического типа работ, освещающих историю сеньории в отдельных странах либо в пределах всей Западной Европы (Дюби, Бутрюш, Перруа, Перрен, Лютге, Абель и др.). Характерное для послевоенного периода общее расширение фронта аграрно-исторических исследований, с одной стороны, и усиление идеологического размежевания в среде западных историков, с другой, не смогло, естественно, не сказаться на численности «школ» и направлений в современной историографии вопроса. Однако деление этой историографии на «национальные» школы в значительной мере потеряло былой смысл, так как концептуальная близость историков различных стран

давно преодолела национальные барьеры. Примером могут служить некоторые историки франко-бельгийской школы (Ж. Балон)⁷, чьи построения созвучны точке зрения школы западногерманской историографии (Т. Майер, О. Бруннер); с другой стороны, отдельные западногерманские исследователи (Бергенгрюэн) гораздо ближе по своим концепциям к воззрениям французских последователей Блока, чем к построениям своих соотечественников. Не имея возможности остановиться на всех современных исследовательских направлениях в интересующей нас области, мы избрали в качестве объекта дальнейшего анализа следующие современные школы:

1) историки, так или иначе примыкающие к направлению Блока (Перрен, Постан, Бутрюш, Дюби, Доллингер);

2) историки, взгляды которых являются современной разновидностью «новой вотчинной» теории и допшианства (Т. Майер, Бруннер, Лютге, Босл, Балон);

3) историки, близкие к воззрениям классической вотчинной теории (Вернли, Бергенгрюэн);

4) историки, чьи воззрения при всей их эклектичности могут быть отнесены к разновидности модернизированного романтизма (Лятуш).

Рассмотрим концепции наиболее крупных представителей каждой из указанных школ.

Концепция Перрена⁸ наиболее полно изложена в курсе лекций, читанных им в Сорбонне и изданных в трех частях. История вотчины раннего средневековья делится им на два периода: период господства так называемой домениальной сеньории, т. е. барщинной вотчины, основанной главным образом на труде дворовых или посаженных на землю сервов (*servi, mansarii*), и период возникновения так называемой сельской сеньории (*seigneurie rurale*), т. е. сеньории над всеми жителями подвластной сеньору территории, независимой от их титула земельного держания (в немецкой исторической литературе для обозначения этой сеньории употребляется термин *Grundherrschaft*). Домениальная вотчина олицетворяла неразрывную связь между доменом и тяглыми наделами (*mansi*). Неразрывность этой связи заключалась не только в том, что наделы держателей служили основой домениального хозяйства, т. е. были призваны обеспечить домен даровой рабочей силой, но и в том,

что сами держатели их были разновидностью движимой собственности сеньора. Такая вотчина представляла собой область частного права сеньора — дворовый союз (Hofverband). Олицетворением домениального типа вотчины являлась каролингская вилла. Что же касается свободных категорий держателей, то их повинности носят чисто экономический характер, и каковыми последние ни были по своему характеру (оброк, барщина, дворовая служба), они не затрагивали личной свободы их носителей. Три категории держателей этой вотчины — сервы, колонны, свободные — составляли три круга разнокачественного права сеньора. Сервы находились в его неограниченной власти, положение колоннов обнаруживает черты постепенного ухудшения правового и имущественного статуса в сторону серважа. Свободные, оставаясь в публично-правовом отношении подвластными носителям государственной власти, агентам короля на местах, были тем самым ограждены от произвола сеньориальной администрации.

Как же возникла домениальная вотчина каролингской эпохи? Являлась ли она простым продолжением поздне-римскойвиллы или же была новообразованием? У Перрена имеются по существу два ответа на этот вопрос. Поскольку это относится к территории Галлии, каролингская вотчина рассматривается в основном как восприемница аграрных распорядков галло-римской поры. На территории же, не подвластной Риму, процесс возникновения каролингскойвиллы был много сложнее. К тому же основные линии этого процесса далеки еще от ясности. С одной стороны, Перрен усматривает в построениях приверженцев марковой теории «произвольную конструкцию, лишенную солидного фундамента». Древнейшие из дошедших до нас текстов (Цезарь и Тацит) неясны и с трудом поддаются истолкованию; затем следует более чем тысячелетний провал, вообще не освещенный текстами; наконец, записи обычного права (так называемые *Weistümer*), тексты слишком поздние (XIV—XV вв.). С другой стороны, хотя Перрен и называет концессию Виттиха (что общество древних германцев состояло из одних лишь средних вотчинников, существовавших за счет оброков, получавшихся от испомещенных на землю рабов) «заманчивой», тем не менее он не находит возможным к ней присоединиться без значительных оговорок. Судя по варварским правдам, подчеркивает он, германское об-

щество делилось на классы: класс свободных был глубоко дифференцирован. Это неравенство среди свободных, без сомнения, факт очень древний. Следовательно, можно предположить, что у древних германцев наряду с «мелкими собственниками» уже существовали собственники крупные и средние.

Проблематичным в его глазах остается лишь вопрос о форме утилизации крупной собственности. Наряду с состоятельными и могущественными людьми в древнегерманском обществе существовало множество мелких собственников, самостоятельно обрабатывавших мелкие наделы (в отдельных случаях — с помощью нескольких рабов).

Перед нами, таким образом, лишь модифицированный вариант точки зрения Допша по тем же вопросам, с тем лишь отличием, что Перрен как и Блок, не склонен считать общину детищем вотчины. В той же мере, в какой община признается образованием первичным по сравнению с вотчиной, эта община рисуется изначально в качестве территориального союза мелких собственников. Сама по себе идея, что между периодом кочевого скотоводства и периодом оседлого земледелия имел место период «аграрного коммунизма», когда община являлась единственной собственницей и распорядительницей общинной территории, представляется Перрену полностью надуманной. По крайней мере, он не согласен с тем, чтобы такого рода общину связывать с аграрными распорядками древних германцев. Территориальный союз мелких собственников — институт не только германский.

Не сомневаясь в том, что вся Галлия в канун варварских завоеваний знала виллу римского типа, Перрен ставит важный вопрос: имелись ли здесь также и объединения мелких собственников, т. е. территориальные общины, характеризующиеся солидарностью хозяйственных интересов мелких хозяев, ее составляющих?

Ответ дается Перреном определенно положительный: в канун варварских завоеваний в Галлии, хотя и в ограниченном числе, имелись сельские общины. Жители пагов (в источниках *comragani*) распределялись между двумя типами селений. Одни эксплуатировали средние и мелкие домены — изолированные дворы (именуемые в текстах «виллами»), с помощью нескольких рабов, другие жили в селениях, именуемых *vici*. Хотя термин *vici* принято считать обозначением поселения торгово-ремес-

ленного типа, нет сомнения, что в нем жило немало мелких земледельцев. Это были истинные деревни, заключает Перрен, т. е. сельские поселения.

Таким образом, в концепции Перрена отчетливо обнаруживается тенденция определенного сближения аграрных распорядков, будто бы господствовавших в канун варварских завоеваний к западу и к востоку от Рейна (т. е. галло-римских и германских) и которым предстояло взаимодействовать прежде всего на территории, впоследствии захваченной франками. Однако это относится лишь к формам земельной собственности, но отнюдь не к формам ее использования. Перрен определенно отмежевывается от концепций, утверждающих исконность вотчинного строя, в частности у древних германцев.

Поскольку речь идет о формах утилизации земельной собственности, Перрен готов признать, что после варварских завоеваний в Галлии должны были столкнуться по существу два типа аграрного строя: решительное преобладание «домениальной вотчины» (виллы) над свободной общиной в римской Галлии и преобладание общин мелких и средних собственников над крупными оброчными вотчинами знати у пришельцев — германских племен. Очевидно, что Перрен, оставаясь в стороне от «модных» ныне (в частности, в западногерманской медиевистике) концепций, предпочел модифицированный вариант концепции Блока.

Так или иначе, концепция генезиса вотчинного строя в Галлии, изложенная Перреном, не оставляет много места для сколько-нибудь кардинальных сдвигов в аграрном строе Галлии в результате франкского завоевания (не говоря уже о бургундском и вестготском «поселении» на территории Галлии). Крупная земельная собственность сохранялась такой, какой она была в римскую эпоху. Более того, с переходом этой собственности в другие руки (в руки франкских королей, служилой знати, церкви) она полностью сохранилась в качестве крупной. Сохранилась и форма ее использования — «домениальная система». Все перемены свелись к одному «новшеству» — по соседству с виллами, унаследованными от галло-римской эпохи, франки основали (в основном — к северу от Луары) деревни, составлявшие общины мелких собственников. Изучение этих общин крайне затруднено, так как они в документах обозначены терминами, легко вводящи-

ми в заблуждение современного исследователя. Термин *vicus* вскоре вышел из употребления. В то же время термин *villa* стал двусмысленным, так как мог означать и вотчину, и деревню. То же, по мнению Перрена, следует сказать и о термине *marca*, который был применим к территории крупной вотчины, равно как и к территории общины. Аналогичные трудности испытывали и составители меровингских документов, когда им нужно было обозначить сельского жителя: термины *vicini*, *commarcani* столь же неопределенны, как и термины, производными от которых они являлись: *vicus*, *marca*.

«Соседями», по мнению Перрена, могли быть названы и жители деревни, т. е. сельской общины, и испомещенные на домене зависимые держатели (Перрен здесь допускает логическую непоследовательность, ибо дифференциация какого-либо понятия не снимает вопроса об исходном смысле его). Эту необходимость уловил и сам Перрен, когда предупреждал, что сказанное им не может служить аргументом в пользу возрождения концепции Фюстель де Куланжа, вообще исключившей сельскую общину из социальной структуры общества раннего средневековья. Многочисленные «дарственные грамоты» (так называемые *traditiones*), формулы VII—VIII вв. и в особенности 45-й титул Салической правды и эдикт Хильперика (573—575 гг.), по его мнению, не только убедительно свидетельствуют о наличии в Галлии деревни — сельской общины, но и о том, что общине принадлежала верховная собственность на территории деревни. Перрен странным образом не замечает, что это утверждение плохо согласуется с его общей характеристикой сельской общины раннего средневековья как союза мелких и средних собственников (см. выше). Термин *vicini* в таком случае означает членов сельской общины.

Вместе с тем Перрен полагает, что число сельских общин было значительно меньшим по сравнению с численностью вотчин (вилл). Следовательно, в пределах Галлии весь процесс складывания средневекового вотчинного строя заключался в распространении изначально господствующих распорядков домениальной вотчины (унаследованной от предшествующей эпохи) на немногочисленные свободные общины. Другим представляется Перрену характер этого процесса на территории Германии. Отклоняя (как малообоснованную) гипотезу о суще-

ствовании у древних германцев домениального типа вотчин, Перрен, однако, подразделяет эти племена на две группы в зависимости от самобытности социальных процессов: 1) бавары и алеманны, оказавшиеся в положении, близком к условиям франков, и 2) фризы, тюринги и саксы, представляющие более самобытный тип развития. В столетие, следовавшее за поселением баваров и алеманнов (VII в.), строй крупной поземельной собственности широко распространился у них, как свидетельствует так называемая *Indiculus Agronis* — опись, составленная в 788 г. по приказу Карла. В этой описи шаг за шагом перечисляются владения епископа Зальцбурга, полученные им от щедрот баварских герцогов. Оказывается, указанные владения эксплуатировались по типу «домениальной вотчины».

Алеманнская и Баварская правды, составленные в начале VIII в., регулируют повинности сервов и колонов на земле церкви.

В других областях Германии (в частности, в Саксонии, Тюрингии) «домениальный строй» был введен позднее, в результате франкской экспансии. В этом случае решающую роль в распространении крупной собственности в Германии сыграли дарения земли в пользу церкви и система прекарных держаний. В противовес Допшу Перрен отмечает, что в результате распространения прекарных держаний произошло несомненное расширение крупной собственности. Поскольку передача земли церкви мелкими собственниками нередко сопровождалась самокабалением (*autotraditio*) дарителя, число лично свободных земледельцев должно было резко сократиться.

Занимая в определенном смысле позицию, гораздо более близкую к классической вотчинной теории, нежели к воззрениям ее «критиков», Перрен считает каролингскую эпоху временем интенсивного распространения крупной феодальной собственности у франков и конституирования ее в собственно германских областях. С другой стороны, настаивая на необходимости дифференцированного ответа на вопрос об интенсивности исчезновения в различных регионах свободных мелких земледельцев, Перрен вместе с тем признает, что домениальный строй полностью утвердился в результате сеньориализации территории свободной общины и закабаления свободных земледельцев-общинников.

Такова в общих чертах перреновская концепция генезиса вотчинного строя раннего средневековья. В ней, как уже отмечалось, сделана попытка модифицировать классическую вотчинную теорию с помощью умеренного допшианства. Поскольку историзм редко изменяет Перрену, то все его выпады против концепции «исконного аграрного коммунизма», в частности у древних германцев, по существу чисто декларативны. Анализ источников близко подводит Перрена: 1) к признанию общины носительницей верховной собственности на всю территорию деревни; 2) к признанию общины первичным институтом, а вотчины — по крайней мере у германских народов — вторичным; 3) к признанию того, что суть процесса становления сеньории — это превращение мелких свободных собственников в держателей «чужой земли».

Весьма близок к изложенным воззрениям и другой последователь Блока — Робер Бутрюш⁹.

Прежде всего, он признает большой удельный вес мелкой собственности крестьянского типа в римских провинциях в канун варварских завоеваний. Тысячи *vicī*, открытых археологами и топонимистами, служат тому свидетельством (очень часто в таких селениях не находят домена даже в случае присутствия антропонима в их названии). Иными словами, торжество латифундий в римских провинциях в канун варварских завоеваний признается далеко не полным и не повсеместным. В то же время Бутрюш не приемлет многие положения марковой теории в обрисовке структуры земельной собственности варваров. Так, по его мнению, и на правом берегу Рейна в IV в. существовали крупные земельные владения, в которых земля была разделена между рабами, обязанными оброком в пользу господина. Если в этих владениях и имелся домен, то во всяком случае он был невелик, но крупные владения вообще редки здесь. Земля распределена между средними и мелкими собственниками, которыми являлись «фамильные группы». Неопределенность этих групп как по составу, так и по численности заставляет думать, что речь идет о «большой семье». Очевидно, что назвать такое домохозяйство «индивидуальным» можно только отдавая дань антиобщинной тенденции.

Таковы, по мнению Бутрюша, «исходные состояния» обществ, которым суждено было взаимодействовать в результате варварских завоеваний. Как и другие последова-

тели Блока, Бутрюш стремится к «уравновешиванию крайностей» воззрений создателей так называемой классической теории и историков «критического направления». За линией языковой границы в Галлии, отмечает он, обнаруживаются лишь островки варварских поселений. Они становятся все более редкими по мере удаления к югу и западу от Сены. Несколько сотен тысяч варваров, полагает Бутрюш, поселившихся на территории Западноримской империи, где проживали миллионы людей, изменили весьма неравномерно форму поселения и землепользования обширной страны. В районах, где имел место раздел земли между римскими посессорами и варварами (процедура, примененная франками, осталась неизвестной), варвары получили доли неравные, в соответствии с их социальным положением. Складывается впечатление, что характер сельской жизни, формы собственности, методы эксплуатации меньше изменились, чем формы политической организации и социальной психологии. Неясно только, сколько времени длилось это расхождение — по уровню развития — общественного базиса и общественной надстройки.

Непоследовательность Бутрюша раскрывается и в другом его замечании.

В Бретани, в центре и на юге Галлии, во Фландрии и Нидерландах мелкие собственники сохранились на протяжении всего раннего средневековья. Они сохранились также в Средней и Южной Италии, Иберии и Германии, где сельские общины тормозили распространение крупной собственности. Но в таком случае Бутрюш как будто допускает, что община, самое существование которой столь решительно отрицалось им вначале, теперь оказывается фактором, тормозящим появление крупной собственности. Но если общины — допотопного происхождения, то не правомерно ли допустить, что они, по крайней мере, существовали уже в момент варварских вторжений? Наконец, как и Перрен, Бутрюш при решении вопроса о генезисе средневековой вотчины различает внешнюю аналогию института и реальную его преемственность. Имея в виду нередкие ссылки на наличие «домениальной системы» в древнем и эллинистическом Египте, эллинистической Сирии и Малой Азии, Бутрюш замечает: между домениальной системой средневековой Европы и аграрными режимами указанных стран могут быть при желании

установлены аналогии (ибо в конечном счете формы землевладения и методы утилизации последнего не столь уж многочисленны), однако они не свидетельствуют о прямой преемственности институтов. Замечание очень плодотворное и многозначительное!

Вместе с тем Бутрюш склонен искать корни средневековой «домениальной системы» в североафриканских сальтуссах (крупных имперских доменах) II в., знавших деление на домен посессора и держания колонов, хотя трудно сказать, продолжает он, было это «местной импровизацией» или распространением системы европейского происхождения. Так или иначе — это первый эскиз аграрной организации, призванной сыграть на средневековом Западе громадную роль. И приведенными рассуждениями ограничивается по существу решение Бутрюшем всей проблемы генезиса средневековой вотчины. Нетрудно заметить, что судьбы мелкого свободного землевладения почти полностью обойдены, как и социальная природа возникшей вотчины. Анализ хозяйственного механизма вотчины настолько поглотил внимание Бутрюша, что вне его поля зрения осталась основная проблема: как сложились условия, сделавшие возможным распространение подобного института в стране с преобладанием мелких форм земельной собственности. Очевидно, беглое замечание о том, что вотчина была частично унаследована, а частично явилась новообразованием, не вскрывает существа социальных процессов, протекавших во франкском обществе с VI по IX в., а тем более — в странах к востоку от Рейна. И здесь Бутрюш сказал гораздо меньше, чем его коллега по «школе» — Перрен. «Запад в раннее средневековье видел распространение и утверждение режима домениального и сеньориального, наложенного на большую часть крестьянства». Именно на этом основании главным образом был воздвигнут феодализм.

С таким замечанием можно было бы только согласиться, если бы оно не осталось чисто декларативным.

Из всех последователей Блока наиболее близок к завещаниям учителя французский исследователь Жорж Дюби¹⁰. Его обобщающая работа «Сельское хозяйство и деревенская жизнь в Западной Европе в средние века» (1962) охватывает период с IX по XIV в. Следовательно, проблема генезиса средневековой сеньории осталась по существу вне поля зрения автора. Однако даже из эпизоди-

ческих замечаний и кратких экскурсов в прошлом вырисовываются основные взгляды Дюби. Прежде всего, ясно, что Дюби признает крестьянскую общину фактом первичным по отношению к сеньории даже на территории Франции. Это следует из его замечания о том, что зачастую крестьянская община связывала крестьян одной вотчины с крестьянами другой, из чего мы вправе заключить, что вотчина надстраивалась над общиной. Хотя Дюби то и дело употребляет традиционное выражение «домениальный режим», тем не менее очевидно, что генезис последнего ему рисуется в ином свете, нежели Бутрюшу. Этот процесс даже в римской Галлии включает, по мнению Дюби, поглощение мелких свободных аллодистов-общинников. Так, например, говорит Дюби о свободных, которые были «слишком бедны или слишком слабы» и вынуждены были поэтому «включиться» в экономическую систему виллы.

С другой стороны, подчеркивая, что по структуре сеньории в Германии значительно отличалась от «классической» северофранцузской, Дюби замечает, что даже в IX в. здесь имелся еще значительный слой крестьянства, «свободного» от прямой экономической власти сеньории. Сеньория к востоку от Рейна была более «дворовой», «частновладельческой» (т. е. основывалась прежде всего на труде сервов), нежели публичной, так как окружающее ее крестьянство обладало гораздо большей независимостью. Это объясняется «более поздним перенесением сеньориальных институтов» в тот район, существованием там более сильных (нежели к западу от Рейна) крестьянских общин.

Во Фрисландии, Саксонии, Англии, Скандинавии, где раздел земли «не был столь неравным», сильное независимое крестьянство более длительное время оставалось вне сеньории, хотя и здесь власть последней была достаточной, чтобы косвенными путями завладеть большей частью избыточного продукта, произведенного этим крестьянством.

Разумеется, перед нами лишь отдельные мазки, а не картина в целом. Сравнительно поздние хронологические рамки этой обобщающей работы не дают возможности выявить концепцию Дюби в целом. Однако другие его труды, более частного характера, позволяют утвердиться во мнении, что перед нами наиболее последовательный приверженец концепции Блока.

Завершая анализ современной французской историографии данного вопроса, остановимся на обобщающем труде Д. Лятуша¹¹. Общая научная позиция ученого такова, что в ней следует усмотреть точку зрения представителя современных романистов (весьма умеренных), протянувших руку «новой школе» современных германистов в западногерманской историографии.

Поскольку исходным тезисом Лятуша является осмысление любой цивилизации в качестве «амальгамы» взаимодействующих элементов различного этнического происхождения, постольку и средневековый строй Европы рисуется им как результат подобного взаимодействия. Строй Позднеримской империи и «германский мир» — таковы образующие элементы сеньориального строя средневековья. Однако создать сколько-нибудь последовательную концепцию самого процесса его становления Лятуш не сумел — построения насквозь эклектичны. Создается впечатление, что его главная цель — внести свою лепту в «ниспровержение» марковой теории. «Разрушение» данной теории Фюстель де Куланжем представляется Лятушу чуть ли не крупнейшей заслугой этого ученого.

Не коллективная, а индивидуальная собственность лежала в основе древнейшего аграрного строя германских племен. Марковая теория, представляется ему «паразитирующим мифом», «сорной травой», которую нужно «выполоть из науки». Как и современные западногерманские историографы («новой школы»), Лятуш тщится доказать, что древнегерманские племена «дебютировали в истории» не коллективными, а «индивидуальными формами» собственности на землю. Подтверждение этого факта он усмотрел в истории германских поселений. Изначальными формами их были «одиночные дворы» (Einzelhof) или небольшие хуторы (Weiler). Что касается деревень, то они появились лишь тогда, когда сельскохозяйственный инвентарь настолько усовершенствовался, что позволил перейти к систематической обработке одних и тех же полей. Таким образом, заключает он, «легендарная марка» — продукт воображения социологов, которые сочли «следами» доисторических времен ассоциации, возникшие лишь в средние века. Очевидно, что, называя изначальную форму собственности семейной, Лятуш мало задумывается над вопросом, о какой семье идет в таком случае речь?

Площадь раскопанных «хуторов», число и характер строений, величина жилых помещений — все это свидетельствует о том, что, как уже отмечалось выше, речь может идти только о большой семье, т. е. коллективе сородичей, охватывающем нередко несколько десятков человек.

Но можно ли собственность такого коллектива признавать индивидуальной, как это делает Лятуш вслед за приверженцами «новой школы»? Как регулировались связи между большими семьями? Нельзя не видеть, что сами они входили в более обширный союз, который Маркс назвал «земледельческой общиной». Если соседская деревня и являлась образованием вторичным, то это легко объяснить эволюцией самой «земледельческой общины», превращавшейся постепенно в территориальную общину-марку. Наконец, исходя из концепции об «изначальности индивидуальной собственности», невозможно объяснить происхождение уравнительного характера общинного землепользования, лежащего в основе системы открытых полей и общинных сервитутов¹².

Однако современный «романизм» далек от прямолинейности и схематизма Фюстель де Куланжа.

Лятуш выступает против упрощения важной проблемы происхождения различных систем землепользования. Такого рода упрощением ему представляется традиционное деление Франции, с указанной точки зрения, на три зоны (восток — открытые поля, юг — иррегулярные, приближающиеся к квадратным поля, запад — хуторская система). Тем более неправомерно, по его мнению, связывать эти различия с преобладанием тех или иных этнических элементов (германских, римских, кельтских). Против этого говорят системы землепользования в самой Германии: система изолированных дворов была распространена в горных районах Швейцарии, в Нижнерейнской области, Вестфалии. С другой стороны, системы землепользования варьировали и в самой Галлии, и прежде всего в зависимости от естественных условий.

Выступая горячим поклонником Фюстель де Куланжа в связи с трактовкой им истории земельной собственности и сельской общины, Лятуш в то же время подвергает критике тезис последнего об абсолютном господстве римской виллы в Галлии как в канун варварских завоеваний, так и в период, следовавший за ним. Известно,

что Фюстель де Куланж совершенно исключал независимую деревню из сельского пейзажа государства Хлодвига. Однако предложенная им картина, по мнению Лятуша, слишком упрощена. Вряд ли верно, что варварские завоевания не внесли в этот пейзаж никаких перемен.

Франкская колонизация (Лятуш вслед за Фюстель де Куланжем отрицает факт завоевания) усилила мелкую крестьянскую собственность в Галлии (это же заключение применимо к другим германским племенам, утвердившимся на территории империи). И если такое усиление не было достаточно эффективным, то это произошло благодаря тому, что неотвратимые процессы сокращали данную форму собственности в пользу могущественных — уже задолго до вторжений — варваров. Однако мелкое хозяйство при этом не исчезало — исчезала лишь мелкая собственность, оказавшаяся сплошь и рядом инкорпорированной в виллу. В той же мере, в какой мелкая собственность устояла, она должна была позднее расстаться со своей «автономией» под давлением феодальной анархии.

Построение Фюстель де Куланжа, подчеркивает Лятуш, затемняет многообразие действительности. Как известно, все это построение зиждется на таком толковании им латинского термина *villa*, которое насквозь статично. Новейшая историография, подчеркивает Лятуш, наоборот, полна динамизма, ее цель — проследить «кинематографически», как происходили последовательные преобразования аграрного пейзажа в пределах ограниченной территории. Фюстель де Куланж во всей Галлии насчитал только 17 *visi*, селений типа крестьянской деревни. Это чрезмерно мало. Цезарь насчитал только у гельветов 400 *visi*. Что стало с ними к VI веку? Многие из них продолжали существовать. Григорий Турский назвал этим термином 70 селений, большинство из которых расположены в Оверни и Турени, т. е. в районе, лучше всего ему знакомом. С другой стороны, он никогда не смешивает термины *visus* и *villa*. Еще в IX в. мы находим многие из древних *visi*. В последних не было крупных доменов, разделенных на мелкие наделы. Это были поселения мелких свободных собственников-земледельцев. Многие такие *pagenses* дарят землю церкви еще в VIII в.

Только в списке епископства Мэн, восходящем к началу VIII в., мы находим 90 *visi*. Каково взаимоотношение виллы и этих селений? В ряде случаев очевидно,

что вилла (небольшая по площади) возникла вблизи селения, в его округе, и поскольку она выступает образованием вторичным и подчиненным, то и заимствует свое название у соседней деревни (*vicus*). Следовательно, под одним и тем же названием в VI—IX вв. скрывались явления различные и многоликие. Возникновение виллы зачастую было результатом длительного процесса расчисток и колонизации новых земель, пустошей. Особенно это имело место на северо-западе государства Меровингов. Некоторые виллы включали лишь незначительную пахотную площадь, другие же вообще состояли в то время из одного леса для охоты.

С другой стороны, тот факт, что некоторые деревни именуется в источниках то *villa*, то *vicus*, свидетельствует о том, что независимая некогда деревня, населенная *pagenses*, оказалась под властью (патронатом) соседнего посессора и была поглощена его «виллой». Многие *visi* превращались, таким образом, в виллы. Этот феномен прежде всего объясняет прогрессирующее с течением времени уменьшение числа независимых селений.

Меровингская эпоха рисуется Лятушу как время завершения сеньориализации мелких свободных собственников. По крайней мере, к западу от Рейна процесс выглядит «завершающим». Ни о каком перевороте не может идти речь, процесс был медленным и привходящим. Такие явления, как «феодалная анархия», распространение имунитета, только содействовали этому. Точно так же бенефициальная система только усилила имущественное неравенство. Экономическая слабость и публичная беззащитность решили судьбу сравнительно немногочисленной прослойки мелких свободных.

Таким образом, Лятуш уже не отрицает ни наличия мелкой собственности в галло-римскую эпоху, ни влияния варварских завоеваний на социальную структуру этого общества, в частности факт усиления мелкой свободной крестьянской собственности. Однако в этом он не видит ничего нового, ничего «революционного», ибо, как уже отмечалось, этой собственности он отводит значительное место в социальной структуре римской Галлии и в канун варварских вторжений. С другой стороны, Лятуш также не думает отрицать, что складывание сеньориального строя имело своей оборотной стороной исчезновение мелкой собственности крестьянского типа. Но средние века

здесь так же не открыли ничего нового, они завершили лишь процесс, наблюдавшийся уже в заключительные века античной эпохи. Легко убедиться, что в значительной своей части эти воззрения очень близки к воззрениям современных последователей Блока.

Единственное, что отличает его от них, — это бескомпромиссное отрицание «общинного характера» варварских форм землевладения. Лятуш, как мы видели, относит возникновение общины-марки лишь ко времени Каролингов, когда захват ничейных земель каролингской администрацией сплотил мелких собственников для защиты неподеленных угодий от захватчиков. Блок, Перрен, Дюби (и фактически Бутрюш) знают общину допотопную, хотя и не склонны связывать ее происхождение с первобытным «аграрным коммунизмом».

Эклектический характер концепции Лятуша очевиден: новая форма «романизма» во многом солидаризуется с «новой вотчинной теорией» и «современной школой». Этот факт можно было бы подтвердить, анализируя взгляды таких бельгийских историков, как Веррье, Балон и др.

Современные восприимчивы наследия «новой вотчинной теории» и допшианства, особенно многочисленные в западногерманской историографии, мало оригинальны в решении вопроса, нас интересующего. В лучшем случае они пытаются синтезировать свою «современную концепцию» генезиса средневековой вотчины из только что упомянутых элементов.

Яркой иллюстрацией методологической направленности всей этой «школы» в современной буржуазной медиэвистике могут служить воззрения западногерманского историка Ф. Лютге, автора ряда исследований по истории среднегерманской, баварской и прирейнской сеньории и обобщающих работ по социальной истории Германии в средние века¹³.

Основная цель всего этого направления (Т. Майер, О. Бруннер, К. Босл, Г. Данненбауэр и др.), представленного Лютге, заключается в том, чтобы разорвать завещанную классической вотчинной теорией связь между проблемой становления средневековой вотчины, с одной стороны, и разложением первобытнообщинного строя у германских племен, с другой. Достигается эта цель, как мы в этом могли убедиться выше, полным отрицанием в истории германских племен самого периода господства

родовой и земельной общины, военной демократии. Допущение такого периода объявляется Лютге «заблуждением», «чисто спекулятивной конструкцией». В соответствии с этим из истории раннего средневековья тщательно убираются все следы родового строя.

Вместо «древнекоммунистического равенства», основанного на коллективной собственности, Лютге находит у германских племен на заре средневековья далеко зашедшую социальную и имущественную дифференциацию, связанную с господством частной собственности на землю. Подтверждение такой точки зрения Лютге находит в 26-й главе «Германии» Тацита (из нее явствует, по его мнению, что не только двор и скот, но и пахотные поля находились в частной собственности). Правда, Лютге вынужден сделать оговорку, что это не римско-правовое ее определение, а определение в смысле германского права, в котором собственность была связана семейными, соседскими и иными узами. Однако, поскольку само существование общины-марки в средние века — факт слишком очевидный, чтобы его можно было отрицать, Лютге, как и его единомышленники, стремится доказать, что эта община ничего общего не имеет с «предполагаемой» древней общиной, которую связывают с аграрными порядками древних германцев. Община-марка средневековья, подчеркивает Лютге, не предваряет собой раннего средневековья, а является его детищем. Предпосылкой марки была не коллективная собственность на землю, а, как уже отмечалось, частное землевладение. Процесс возникновения марки рисуется вкратце следующим образом: германцы селились не деревнями, а одиночными дворами и хуторами, разбросанными на значительном удалении друг от друга.

Такая форма поселения делала излишней какую-либо систему полей. Этому периоду чуждо представление об альменде, т. е. неподеленной земле, находящейся в общем пользовании общинников. Только с увеличением народонаселения хутора постепенно разрастались в деревню, что приводило к земельной тесноте.

Земля из «свободно доступного достояния» превратилась в предмет домогательства. В этих условиях возникла солидарность жителей деревни в деле охраны и пользования неподеленной землей. В результате «соседский союз» собственников-домохозяев превращается в общину-марку,

однако функции последней ограничивались регулированием пользования альмендой и только. Это, по мнению Лютге, произошло не раньше VII—IX вв., а иногда и позже.

Нетрудно убедиться, что эта до очевидности надуманная теория преследует единственную цель: оторвать само представление о средневековой общине-марке от представления об общине родовой, олицетворявшей не только коллективную собственность на землю, но и коллективное хозяйство на ней. Именно поэтому исторически засвидетельствованная в источниках марка объявляется историками «современной школы» новообразованием, возникшим на базе частного землевладения, и притом по частному поводу, не затрагивавшему пахотные земли. Если же мы сталкиваемся с такими фактами, как система открытых полей, чересполосица, принудительный севооборот, установления, распространенные на самую вотчину, то это, по их мнению, не что иное, как поздние установления, возникшие над давлением хозяйственных интересов и солидарности.

На очевидные противоречия и слабости этой концепции мы уже указывали. Здесь же осталось подчеркнуть, что система открытых полей и все распорядки, с нею связанные, были не только результатом стремления обеспечить «равенство условий» даже при господстве индивидуально-семейного хозяйства, но и «следами» былого, более всеобъемлющего равенства членов единого хозяйственного коллектива. Наконец, тот факт, что само понятие альменды возникает поздно, может быть истолковано лишь в том смысле, что оно кристаллизуется только в связи со становлением аллода на пахотной земле. Иными словами, до тех пор, пока пахота была в такой же мере объектом коллективного хозяйствования, как и пустошь, последняя не могла, естественно, восприниматься как что-то отличное по юридическому статусу от пахоты, т. е. как альменда. Когда же пахота стала сферой индивидуально-семейной собственности (в соседской общине-марке), то по контрасту пустошь, оставшись неподеленной, стала восприниматься как общая земля (*terra communis*), т. е. находящаяся в общем пользовании (датское — *almaening*). Отсюда всеми отмечаемая многозначность самого термина «марка», отражающая процесс постепенного суживания его содержания, от обозначения

всей совокупной территории деревни до обозначения узкой полосы общей «пограничной» земли (леса) общины.

Но если община-марка, в изображении Лютге, оказывается институтом феодального происхождения, то вотчина, наоборот, рисуется им в качестве института, по существу исконного у германских племен. Т. е. историческая действительность поставлена на голову: с точки зрения Лютге, средние века унаследовали вотчину, но создали марку. Проблемы генезиса вотчины выносятся Лютге не только за рамки средневековья, но и обзорной истории в целом. Раннее средневековье — всего лишь время «дальнейшего развития», «трансформация» вотчины.

Пытаясь как-то смягчить антиисторизм подобного рода концепций, Лютге вынужден прибегать к словесным уловкам. Так, в истории вотчинного строя он выделил два периода: период существования «неподлинной» вотчины, который относится ко времени Цезаря и Тацита, и период становления «действительной вотчины», относимый Лютге к VII—IX вв. В древнегерманской вотчине на первый план выдвигались отношения собственности «на людей», собственность «на землю» отодвигалась на задний план. Поскольку свободной земли было много, решающим элементом были отношения личной зависимости. Эта односторонность «вотчинных отношений» и придавала древнегерманской вотчине «недействительный» характер. Средним векам осталось достроить «вторую сторону» вотчины — поземельную. Этим определялось содержание социальной истории раннего средневековья.

Таковым являлось, по мнению Лютге, перенесение существовавших в древности отношений господства знати и зависимости земледельцев на территориальную основу, т. е. на основу крупного, вотчинного землевладения знати. Лютге пишет: «Для VII—IX вв. характерно превращение [«неподлинной вотчины»] в действительный вотчинный строй, а не возникновение этого строя вообще». И далее: «Только тот, кто верит, что древнегерманская эпоха характеризуется господством «аграрного коммунизма» и «демократического» равенства всех членов племени, должен допустить, что в каролингскую эпоху имело место возникновение вотчинных отношений». В этой связи Лютге полемизирует с теми буржуазными историками, которые допускают, что основными предпосылками воз-

никновения вотчинного строя являлись, во-первых, различного рода коммендации простых свободных, а во-вторых, более или менее насильственный характер процесса сеньориального подчинения землевладения этих свободных («Лютге не принял до конца «новое учение» Майера — Данненбауэра о так называемых «королевских свободах». По его мнению, наряду с последними продолжал существовать унаследованный от древности слой простых свободных по народному праву»).

Здесь Лютге протягивает руку Допшу, полностью воспроизводя его аргументацию с целью «опровержения» этих представлений. О массовых случаях насилия над свободным, как и о массовых актах добровольной коммендации, подчеркивает Лютге, не может быть и речи. Первое — потому, что с хозяйственной точки зрения сеньориальное подчинение несло выгоду не столько сеньору, сколько вступившему в зависимость от него человеку. Второе же допущение повисает, по мнению Лютге, в воздухе, так как численность простых свободных на собственном праве в обществе VI—VII вв. — величина все же слишком ничтожная для того, чтобы она могла стать ареной основного социального процесса этого времени. Таким образом, следуя за Лютге, можно говорить лишь о завершении процесса сеньориального подчинения этой прослойки, но ни в коем случае не о «преобразовании в меровингскую эпоху древнегерманского и варварского строя». Лютге недоволен даже непоследовательностью Допша и Кетчке, допускавших именно последнее. Поскольку Лютге относит процессы социальной и имущественной дифференциации германских племен к доисторическим временам, постольку в меровингскую и каролингскую эпохи, с его точки зрения, могло лишь иметь место дальнейшее развитие древней социальной структуры германских племен, ее интенсификация и завершение. Становление поземельного господства в VII—IX вв. Лютге объясняет следующими факторами:

1) расширение королевского землевладения, включившего обширные домены римских императоров, в которых сохранилась готовая система барщинного хозяйства;

2) возникновение и расширение церковного землевладения, конкурирующего с королевским по степени завершенности барщинной системы. Таким образом, церковь являлась прямой преемницей античного наследия;

3) возникновение обширного крупного светского землевладения. Это, однако, происходило не только за счет дарений и уж, во всяком случае, не за счет «ограбления простых свободных», пронизывает Лютге, а главным образом за счет «оккупации» ничейной земли.

Таким образом, по Лютге, — возникновение крупного феодального землевладения было связано не с социальными коллизиями, не с переворотом в аграрных отношениях и не с исчезновением свободного крестьянского сословия (его по существу не было), а с наличием у знати значительных резервов рабочей силы, по выражению Лютге, «человеческого материала» (в лице сервов), необходимого для расчистки векового леса.

Ядро вотчины — несвободный элемент (личная зависимость), а не землевладение. И именно поэтому становление крупного землевладения отнюдь не означало ломки унаследованной от древнегерманской эпохи общественной структуры, а явилось лишь «переводом» ее сущности с «языка личных отношений» на «язык отношений вещных», поземельных. Этот процесс, именуемый Лютге процессом «крестьянивания» несвободных, т. е. их испомещения на землю, выступает в его концепции важнейшей стороной социальной истории раннего средневековья. Что же касается процесса превращения свободных земледельцев-аллодистов в зависимых держателей чужой земли, то это был, по мнению Лютге, процесс привходящий, ибо не простые свободные, а знать и различные градации несвободных и полусвободных определяли структуру древнегерманского и варварского обществ.

Перед нами яркий пример «приложения» учения «современной школы» о происхождении крестьянской свободы в средние века к решению вопроса о генезисе вотчины. Подробная критика этого учения будет дана ниже. Здесь же достаточно заметить, что Лютге, вопреки декларативному «несогласию», сделал значительную уступку этой школе, включив в структуру общества раннего средневековья, наряду со «свободными» собственными права, слой королевских «свободных». Но тем самым удельный вес первых в этой структуре должен был соответственно уменьшиться. Решительно отрицая происхождение крупновотчинного землевладения за счет землевладения свободных земледельцев, Лютге, тем не менее, должен был объяснить, как же произошло феодальное подчинение

пусть даже немногочисленного слоя свободных «собственного права».

Поскольку из процесса сеньориализации свободного крестьянства исключаются все социально-политические факторы (роль королевской власти и раннефеодальной государственности в целом, роль прямого и косвенного насилия магнатов и т. д.), то для объяснения интересующего нас процесса у Лютге остаются лишь соображения демографического характера — увеличение народонаселения и его хозяйственные последствия. Крестьянские наделы дробились в результате семейных разделов, дарений и т. п., и в то же время нельзя уже было, как прежде, пользоваться резервами «ничейной земли» для восстановления жизнеспособности крестьянских дворов — она уже вся была разделена. (При этом Лютге молча обходит первостепенной важности факт узурпации феодальными магнатами, и прежде всего королевской властью, огромного фонда народной — «ничейной» — и общинной земли.)

В этих условиях обращение к сеньору оставалось единственным выходом для обедневших домохозяев. Цель такого обращения — восстановление жизнеспособности крестьянского двора путем вступления в зависимость, скорее символическую, чем обременительную. Итак, хозяйственная выгода — основной фактор превращения независимого землевладельца в зависимого от вотчины держателя.

Формой этого процесса был прекарный. Прекарные отношения истолковываются Лютге в духе анализированной выше допшианской концепции — они были более выгодны прекарному, нежели господину. С точки зрения повинностей, прекарный не означал никакого переворота. Повинности свободных были якобы известны еще во времена Тацита. С другой стороны, поскольку эти повинности не были обременительными, они не ухудшали экономического положения крестьян, вступивших в прекарные отношения. Эти отношения, заключает Лютге, укрепляли экономические позиции крестьянского хозяйства, открывая ему доступ к резервам хозяйственно не освоенной земли. Крестьянские хозяйства множились не только путем дробления, а и путем хозяйственного освоения господской невозделанной земли. Улучшая хозяйственное положение крестьян, прекарный вместе с тем не затрагивал их статуса.

Если понятия «свободы» и «несвободы», подчеркивает Лютге, первоначально относились к сословно-правовому состоянию (т. е. к принадлежности или непринадлежности к «народу»), то затем они постепенно изменились. Эти понятия отвечают теперь на другой вопрос: связан крестьянин с вотчиной или не связан, выполняет или не выполняет он повинности в ее пользу? В обоих случаях статус «по рождению» отходил на задний план. Вотчина создает истинно единое крестьянское сословие. Последнее формируется не в борьбе с наступлением вотчинного строя, а, наоборот, при содействии его; поддержка и защита со стороны вотчины — решающий фактор его становления. Юридически прекаристы превращаются в несвободных, хотя фактическое положение прекаристов от этого не изменилось в худшую сторону. С другой стороны, положение сервов явно улучшается, так как их повинности из личных превращаются в реальные, вещные. Так, формируется единое крестьянское сословие (Bauerstand), «зависимое держание» — основной нивелир его правового положения.

Такова вкратце концепция генезиса вотчинного строя представляемой Лютге современной западногерманской медиевистики.

Отличительная черта этой концепции — полное отсутствие новизны и оригинальности. Мы указали в самом начале, что истоков ее следует доискиваться в «новой вотчинной теории» и допшанстве, лишь несколько обновленных.

Это сказывается в подчеркивании доисторических корней вотчинного строя, в «обосновании» «некрестьянского» происхождения крупного феодального землевладения, в изображении прекария в качестве спасительного средства для свободной, но хозяйственно неустойчивой части землевладельцев, в отрицании всякого рода насилий по отношению к ним, в отрицании дофеодального происхождения общины-марки. Во всех этих решающих вопросах социальной истории раннего средневековья Лютге и его единомышленники лишь «обновляют» обветшалые положения реакционной буржуазной историографии начала века. В сравнении с концепциями «современной школы» западногерманской медиевистики и Допш в отдельных случаях выглядит едва ли не историком, разделявшим «либеральные иллюзии». Так, отвергается его тезис о со-

хранении в каролингскую эпоху ранее значительного слоя свободного и независимого крестьянства. Затуманивать социальную сущность аграрного переворота VIII в., изобразить вотчину как исконный, унаследованный средневековым институтом германских народов, как воплощение гармонии интересов господина и зависимого крестьянства — сознательно поставленная цель всего изложенного выше построения Лютге.

Развенчать эту идеализацию вотчинного строя значит помнить ту простую истину, что вотчина, будучи организацией для выкачивания феодальной ренты из крестьянства, в то же время в производственном (т. е. если она включала домениальное хозяйство) отношении целиком и полностью зависела от крестьянского хозяйства, основывалась на нем и питалась его соками. Крупное по площади хозяйство барского двора не должно скрывать от нас основного — мелкокрестьянского характера феодального производства. Иными словами, поскольку барщинное хозяйство сеньора паразитировало на производительных ресурсах крестьянского двора, постольку оно лишь ухудшало условия воспроизводства в последнем и лишь поэтому оказывалось «передовым» и «образцовым». Только этим определялась видимость какого-то превосходства барского хозяйства над хозяйством зависимых крестьян в период раннего средневековья.

На фоне построений историков «современной школы» особенно выделяются немногочисленные, в особенности в Западной Германии, последователи классической вотчинной теории. Характерным примером могут служить направление и методика исследования Бергенгрюзна¹⁴.

Комплексное исследование всех доступных источников по истории франкского землевладения в сочетании с наблюдением всей совокупности обнаруженных явлений под одним и тем же углом зрения создает ту монографичность исследования, которой отличаются труды современной школы локальных исследований. Бергенгрюзна интересовал генезис франкского дворянского землевладения.

Значительны уже сами по себе вопросы, выдвинутые автором:

1. Является ли близость структуры вотчин франкской знати на севере и сенаторской знати на юге Галлии доказательством факта присвоения галло-римских *fundi*

франкской знатю в период франкского «переселения»?

2. Может ли вотчинный строй на севере Франции рассматриваться в качестве дальнейшего развития «исконно германской» формы вотчины?

3. Является ли вотчинное землевладение результатом постепенного расширения крестьянского двора простого свободного франка?

Как и следовало ожидать, Бергенгрюэн на все эти вопросы отвечает отрицательно. Титулы «о переселенцах» и «об аллодах» Салический правды не предполагают наличия у франков землевладельческой знати. Служилая же знать не участвовала в первом разделе земли среди франков. Ее «испомещение» на землю — факт вторичный и более поздний — он относится только к VII в. Вотчинное землевладение возникло в результате самостоятельно предпринятых расчисток.

Большинство дворянских резиденций VII—VIII вв. не были в прошлом королевскими вотчинами и не расположены внутри фискального домена, т. е. они не ответственны по отношению к римскому фиску.

Меровингское дворянство вообще осело на землю не ранее середины VII в. Но если так, то и о дворянском землевладении в первое время после завоевания Галлии речи быть не может. Если уж доискиваться формы римского поселения, которая продолжала существовать и в меровингский период, то в качестве таковой выступают не римские виллы, а небольшие селения муниципального характера, именуемые *visi*. И тот факт, что франкские виллы нередко являлись теми же рыночными или придорожными пунктами, говорит в пользу этого предположения.

Таким образом, «поселение на землю» франкской знати и пространственно, и, в особенности, во времени отделено от «раздела земли» Галлии франкским племенем. Служилая знать, следуя за королем, занялась основанием «вотчин» не внутри старых освоенных территорий, а в их округе. В топонимике данный процесс отразился в названиях с суффиксом «ingen». Эти названия, таким образом, свидетельствуют не об этнической принадлежности поселения, а о развивающемся социальном институте — франкской вотчине. Следовательно, заключает Бергенгрюэн, титулы 59-й («Об аллодах») и 45-й («О переселенцах») Салической правды отнюдь не предполагают

вотчинного землевладения у франков. Упомянутые в эдикте Хильперика «соседи» бросают истинный свет на содержание этих титулов — они целиком и полностью укладываются в рамки отношений в среде свободного крестьянства. Переселенец, который может так легко со всеми пожитками подняться с места и исчезнуть из деревни, — конечно, крестьянин.

Мы подробно изложили аргументацию автора с единственной целью показать, сколь живы еще у ряда западных историков представления, связанные с классической общинной теорией. Итак, Бергенгрюэн — один из немногих современных западногерманских историков, признающих, во-первых, отсутствие вотчинного строя у франков до переселения, во-вторых, отсутствие у них после поселения в Галлии светской вотчины вплоть до конца VII в.; в-третьих, решительное преобладание в указанную эпоху свободных крестьянских общинных форм землевладения и землепользования. Основной формой франкского поселения в Галлии была вилла-деревня. Вместе с тем вряд ли можно полностью принять его тезис о возникновении меровингской светской вотчины только за счет расчисток.

По крайней мере, в областях, в которых преобладало галло-римское население, преемственность вотчинного землевладения в V—VI вв. не вызывает сомнений. Точно так же нельзя согласиться и с исключением возможности возникновения вотчины на базе расширившегося крестьянского двора (хотя этот процесс следует отнести, разумеется, только ко времени возникновения развитого аллода у франков, т. е. к VIII в.). Так или иначе, процесс феодализации франкской общины остался вне поля зрения Бергенгрюэна.

Подведем некоторые итоги. Проблема возникновения средневековой вотчины является одной из ведущих исследовательских проблем современной буржуазной медиэвистики. В решении ее обращает на себя внимание, с одной стороны, известный прогресс в изучении фактического материала, к ней относящегося, а с другой — усиление реакционных тенденций в отправных методологических предпосылках исследования.

Наиболее крупным научным сдвигом в этой области следует считать пересмотр в последние годы точки зрения Блока, Делеажа, Диона и др. (восходящей в конечном счете к Мейтцену), согласно которой в Западной Европе

изначально сталкивались две аграрные «цивилизации»: североευропейская и южноевропейская, точнее говоря — средиземноморская, что связывалось с этническими различиями носителей этих систем.

Современная историография считает, что распространение этих систем было обусловлено не этническими факторами, а прежде всего естественно-географическими и социально-экономическими условиями, и, следовательно, эти системы в рамках определенной территории не оставались раз навсегда данными, а сменяли друг друга зачастую во времени (т. е. накладывались одна на другую в одном и то же районе), что являлось результатом социальных сдвигов в сельском обществе. Подтверждение такой точки зрения новая франко-бельгийская школа аграрной истории видит, например, в появлении к северу от Альп так называемой *Gewandörfer* (т. е. тип поселений во вновь расчищенных местах), напоминающих больше средиземноморскую цивилизацию, чем германскую. Точно так же установлено, что существование крупных римских доменов нередко сопровождалось «аграрной структурой», которую ранее считали германской; в то же время рядом, в области франкского расселения, обработанная земля зачастую располагалась изолированными неправильными (по форме) полями, расчищенными в лесу («римская система»).

Эти факты, несомненно, свидетельствуют о том, что «этническое» объяснение чередования систем должно быть оставлено; системы подвижны, наслаиваясь одна на другую, чередуясь нередко вопреки этническим границам расселения.

Однако последствия указанного выше сдвига в аграрно-исторических концепциях этим не исчерпываются. Новые исследования позволили отбросить основной тезис Фюстель де Куланжа об определяющей роли римской виллы в средневековой эволюции Галлии.

Использование межевых карт, данных археологии, топониимики, аэрофотосъемок сделало очевидным, что крупным доменам принадлежала отнюдь не одинаковая роль в различных районах Галлии, что они скорее были вкраплены в «ткань» мелких хозяйств, чем являлись «определяющими пейзаж» даже там, где они безусловно были распространены. С другой стороны, большие пространства Западной Галлии не обнаруживают сколько-нибудь

ощутимых изменений в аграрной системе, связанных с установлением римского владычества. В этом факте ныне усматривается основная предпосылка, которой обусловлены бросающиеся в глаза различия между аграрными системами Западной и Восточной Франции: в расположении полей, в типе сельских поселений Запад оставался районом мелкого хозяйства, а Восток — покрылся римскими виллами. Итак, столь долго противостоявшие друг другу теории — германистская и романистская — в области аграрно-исторического исследования потеряли даже чисто спекулятивное значение.

Поскольку давно поставленный вопрос о соотношении виллы и мелкокрестьянского хозяйства в позднеримскую эпоху и в начальный период средневековья решается ныне определенно в пользу последнего абсолютным большинством западных ученых, постольку новую остроту приобрела вся проблематика, связанная с сельской общиной. Отрицание ее самобытности, ее глубоких исторических корней, ее длительной эволюции, построенное на молчаливом или откровенном игнорировании свидетельств источников (особенно таких, как варварские правды), вызывает на данном уровне науки скептическое отношение даже в среде консервативно настроенных историков.

Интерпретация 45-го титула Салической правды («О переселенцах») все еще остается камнем преткновения в буржуазной медиэвистике. Высказывается сомнение, что право отказа принять чужака, желающего переселиться в чужую общину, свидетельствует о существовании общинной собственности на землю, хотя допускается (неизвестно в таком случае, на чем основанное) «чувство солидарности жителей деревни».

В заключение укажем на все большее распространение в современных аграрно-исторических исследованиях сравнительно-исторического метода. Работы Ж. Дюби олицетворяют несомненный прогресс в данной области исследования. Подобный научный синтез (рассмотрение с единой точки зрения аграрной истории стран так называемой старой сеньории), основанный на большом материале источников и огромной монографической литературе, был еще немыслим четверть века назад. И хотя в такого рода построениях еще неизбежны многие лакуны (из-за неразработанности многих вопросов и целых периодов истории отдельных районов), оно свидетельствует

о назревании потребности в обобщающих трудах, ибо только они могут сделать очевидными дальнейшие задачи исследования.

Таковы общие и характерные тенденции новейшей буржуазной историографии в интересующей нас области. Однако следует указать на очевидные различия, в ней существующие, с точки зрения степени распространения этих тенденций в различных странах. Наиболее ярко выраженными они являются во франко-нидерландской историографии и гораздо слабее, к примеру, в западногерманской. Здесь гораздо сильнее сказывается живучесть «областной истории», сосредоточение на локально-исторических задачах. Точно так же различны аспекты истории сеньории, наиболее излюбленные, если можно так выразиться, среди историков различных стран. Так, во французской историографии наиболее интенсивно в наши дни разрабатываются два периода истории сеньории: 1) так сказать, классический, до XIII в., и 2) позднесредневековый — начиная с XVI в.; в Западной Германии наиболее интенсивно изучается период так называемого «запустения» (XIV—XV вв.), в Англии же этот период, наоборот, исследуется крайне слабо. Можно, однако, назвать несколько кардинальных проблем аграрной истории, которые буржуазная историография если и не игнорирует, то, во всяком случае, не особенно жалует своим вниманием. Это, во-первых, проблема сеньориализации крестьянской общины-марки в различных социально-этнических общностях. Во-вторых, проблема происхождения и эволюции феодальных рент, которая почти не существует в новейшей буржуазной историографии как проблема истории сеньории. В-третьих, проблема происхождения механизма внеэкономического принуждения в отношении крестьянства. Наконец, в-четвертых, проблема экономики зависимого крестьянского хозяйства, материальных условий жизни крестьянства.

ГЛАВА III. ПРОБЛЕМА СОЦИАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОГО ОБЩЕСТВА РАННЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

Социально-исторические исследования заняли в современной буржуазной медиевистике одно из ведущих мест. Это легко объяснить. Наше время — время величайших социальных преобразований, когда движение широчайших масс стало мощным фактором мировой политики. Поэтому нет ничего удивительного в том, что буржуазная социология и вслед за ней историография оказались перед настоятельной потребностью вплотную заняться вопросом о роли масс, общественных классов в историческом развитии в целом. В результате вопросы, связанные с социальной структурой обществ в различные эпохи, с так называемой социальной динамикой, стратификацией и социальной мобильностью в этих обществах оттеснили на задний план многие традиционные проблемы буржуазного исторического исследования. И в этом мы получаем еще одно доказательство того, что даже в самых «антикварных» — хронологически — разделах историческая наука по существу всегда глубоко современна, так как ее смысл и заключается в том, чтобы по-своему ответить на наиболее актуальные вопросы, выдвинутые современностью.

Так, и перед буржуазной медиевистикой возникла проблема «социальной стратификации» общества. Поскольку общественное развитие в средние века протекало не только в границах «монархий», но и в рамках отдельных «земель» (областей), постольку «областная» история (так называемая *Landesgeschichte*) развивается ныне главным образом как история социальная. Ей на службу поставлены не только все другие аспекты традиционной академической медиевистики (история государственного и правового строя, история церкви), но и весь

комплекс современных историко-вспомогательных наук (включая археологию, историческую географию, топонимику и антропониимику, агиографию и владельческую историю и т. д.). Очевидно, что с точки зрения объема и характера источников, а также формальной методики их изучения социально-исторические исследования достигли на Западе серьезных успехов по сравнению с началом века.

К сожалению, эти успехи в области источниковедения и методики не сопровождались соответствующей объективизацией ее познавательных целей и результатов. Исторический опыт нашего столетия — история двух мировых войн, межвоенного и послевоенного периодов, — несомненно, обогатил историческое мышление новой проблематикой или содействовал новому повороту в освещении старых вопросов, что в сочетании с новой техникой исторического исследования обусловило значительный прогресс, формально-логической стороны исторического текста. Что же касается содержательной стороны этих построений, то нередко она находится в обратной пропорции к искусству манипулировать фактами. Эта внутренняя противоречивость историографического процесса в странах Запады может быть проиллюстрирована на анализе того, как в интересующей нас историографии раскрываются две кардинальной важности проблемы: 1) проблема происхождения средневековой знати; 2) проблема происхождения крестьянской свободы в средние века.

1. ПРОБЛЕМА ПРОИСХОЖДЕНИЯ СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЗНАТИ

Феодальное дворянство — господствующий класс в средневековом обществе. Естественно, что вопросы, связанные с генезисом этого класса, его социальной, юридической и этнической природой, его структурой в различные периоды истории, наконец, его функциями в качестве правящего класса, должны были давно уже привлечь к себе пристальное внимание исследователей. Так оно и случилось. Вопрос о происхождении средневековой знати с самого начала дискуссии между романистами и германистами стал ее стержнем. Он, в частности, оказался в центре внимания историков так называемой «историче-

ской школы права». Ее крупный представитель на немецкой почве К.-Ф. Эйхгорн подчеркивал ведущую роль знати в средневековом общественном строе. Из среды дворянства, доказывал он, рекрутировались носители политической, судебной и военной власти в центре и на местах. Более того, эти функции были его сословной привилегией и в то же время общественной монополией. Последнее обстоятельство являлось правомерным результатом той роли, которую знать играла в общественной жизни древнегерманских племен уже на рубеже нашей эры и, в особенности, в ходе варварских завоеваний и основания варварских королевств. По существу то и другое рисовалось Эйхгорну как «предприятие» племенной знати, военных вождей и состоявших на службе у них военных дружин. «Многие германские народы по своему происхождению, — заключал он, — не что иное как военные дружины (Dienstoff)».

Этой концепции, которой следовал в значительной мере и Г. Вайц, была в 50—60-х годах XIX в. противопоставлена концепция П. Рота о «всеобщем союзе подданных» (Untertanenverband) как подлинной основе меровингского государства, в котором дружинный элемент и отношения личного господства и подчинения еще не играли сколько-нибудь заметной политической роли. В гармонии с этой концепцией находилась «марковая теория» Георга фон Маурера, отправной точкой которой было признание общинной демократии изначальной и универсальной ступенью общественного развития. В истории древних германцев эта ступень вырисовывается, по его мнению, из сообщений Цезаря и Тацита. Общинная демократия и в политическом отношении являлась решающим конститутивным элементом варварских королевств. Именно в этом пункте марковая теория смыкалась с концепцией Рота: изначальное «сословное» равенство и полноправие общинников — основание государственно-правового союза подданных. Эта теория, известная под названием классической, являлась творением буржуазно-либеральной историографии середины XIX в. (хотя и не все ее творцы и последователи были в политическом плане либералами).

Естественно, что с изживанием либерализма как политической идеологии буржуазии под сомнение должны были быть поставлены и его исторические построения и

концепции. Наступление эпохи империализма отмечено в интересующей нас области возникновением в 90-х годах XIX в. так называемого «критического направления», начавшего пересмотр самых основополагающих и исходных положений классической теории. Помимо чисто идеологической подоплеки определенную роль сыграли ставшие к тому времени очевидными слабости и марковой, и вотчинной теорий. Схематизм, поглощавший все локальные особенности и отклонения, метод ретроспекции (восхождение от известного к неизвестному), приводивший зачастую к установлению «ложных филиаций» между совершенно чужеродными явлениями, как и к перенесению более поздних форм на более ранние стадии развития, сравнительно-исторический метод, основанный на сопоставлении явлений лишь на основе внешнего сходства между ними; метафизичность и статичность многих положений, наконец, позитивизм, приводивший к одностороннему выпячиванию «хозяйственного фактора» в ущерб всем другим общественным связям, — таковы важнейшие слабости классической теории. Что же касается самого «критического направления», то реакционной его идеологической подоплеки и теоретико-методологических предпосылок сказалась в интересующей нас области намного отчетливее, чем в какой-либо иной.

Прежде всего, «критическое направление» решительно выступило не только против тезиса об «изначальном коммунизме» древних германцев и основанных на нем (т. е. на общинном характере землевладения) равенстве и полноправии членов племени как ведущей черте общественного строя древнегерманских племен и основанных ими варварских королевств. Проецируя вотчинный строй каролингского времени на предшествующие ему периоды истории, и в частности на общественный строй древних германцев, «критики» рисовали его изначальным и всеопределяющим фактором общественного развития германских племен. В результате столь же изначальной чертой общественного строя древних германцев изображались частная собственность на землю, имущественное и социальное неравенство, отношения господства и подчинения. Наиболее ярко выраженный сторонник этой теории, Виттих, утверждал, что «свободный германец» времени Тацита — не самостоятельный земледелец, а мелкий вотчинник, живущий главным образом за счет повинностей его

испомещенных на землю рабов. Иначе говоря, согласно этой концепции, древний германец был свободным и полноправным, но только тогда, когда он выступал в качестве вотчинника-господина. Древнегерманские племена, таким образом, превращались в своего рода этнические союзы дружинников, древняя демократия — в аристократию, полноправие труженников — в господство вотчинников.

«Новая вотчинная теория» была в ее основных чертах воспринята А. Допшем, увидевшим в ней богатые возможности для безудержной модернизации общественного строя варварских племен. В своем стремлении максимально сблизить социальные институты завоевателей-германцев и покоренных галло-римлян Допш, естественно, должен был ухватиться за предложенное Виттихом истолкование общественного строя древних германцев, с одной стороны, а с другой — за истолкование Георгом Кнаппом вотчины в качестве квази-капиталистического предприятия. Эти два элемента стали отправными в обрисовке Допшем социального строя раннего средневековья. Следует, однако, признать, что «новая вотчинная теория» не получила ведущего значения в буржуазной историографии 20-х годов, в том числе и самой Германии. Господствующее положение все еще оставалось за классической теорией, хотя и претерпевшей изменения в ряде пунктов.

В послевоенной историографии проблема средневековой знати превратилась в одну из наиболее разрабатываемых и дискутируемых проблем буржуазной медиэвистики. Особенно интенсивно эта проблема изучалась во Франции, Бельгии, Голландии, Западной Германии, Австрии (отчасти Швейцарии и Италии). В Западной Германии сложилась даже особая школа (Г. Телленбаха), специально посвятившая свои исследования истории франкской и раннегерманской знати; оформились свои «национальные» историографические направления во Франции и Бельгии. Степень научной актуальности этой проблемы хорошо иллюстрируется тем фактом, что в повестку дня Международного конгресса историков в Вене в 1965 г. был включен ряд докладов, специально ей посвященных.

Во французской историографии инициатором широких исследований проблемы знати выступил в 1936 г. историк де Нефбург (граф Сульже)¹. В опубликованной им программе такого рода исследований ударение делалось не столько на «господстве знати», сколько на социально-юридической характеристике самой знати как класса средневекового общества. Речь шла в первую очередь о происхождении знати, о характерных чертах ее юридического статуса, о специфике ее свободы, о путях приобретения и передачи этого статуса, о прерывности или непрерывности этого статуса и т. д. Вторая мировая война надолго отсрочила выполнение указанной программы исследований. Однако в послевоенные годы франко-бельгийскими медиэвистами многое сделано для ее осуществления (работы Женико, Бутрюша, Дюбле, Дюби, Перруа, Фешера, Брело, Веррье и др.).

В историографии послевоенной Франции и Бельгии по интересующему нас вопросу наметилось три различных направления (чтобы не сказать — школы), отражающих три концепции средневековой знати. Однако прежде чем перейти к характеристике каждого из них в отдельности, следует хотя бы вкратце указать на то, что их объединяет при сравнении с историографией западногерманской. В то время как последняя сосредоточила свое внимание на проблеме преемственности, точнее — филиации так называемой «древней знати» (Uradel) в раннее средневековье, франко-бельгийская историография, отталкиваясь от каролингской эпохи, прослеживает по преимуществу судьбы знати на протяжении XI—XV вв. Далее, если западногерманская историография особое внимание уделяет политическому аспекту проблемы знати, то французская историография главным образом исследует юридический аспект знати как сословия. Наконец, если западногерманская историография держит в поле зрения по преимуществу верхушечный слой каролингской знати, прослойку имперской знати (Reichsadel), то французская историография ведет (хотя и в локальных масштабах) сплошное обследование, охватывающее всю знать во всех ее градациях. Нет никакого сомнения в том, что методика последней имеет много преимуществ и с со-

циально-исторической точки зрения гораздо плодотворнее первой.

Указанные выше различия в постановке проблемы знати в значительной степени обусловлены политически. Известную роль сыграли и различия в источниковедческой базе и методике. В основе последних во Франции все еще преобладает дипломатика, хронология, генеалогия. Западногерманская историография более основательно переориентирована на данные археологии, топонимики, просопографии, сравнительной истории поселений и заселения, агнографии и др.

Однако при всех различиях внутри историографии проблемы общей для нее чертой является отказ от преждевременных широких построений синтетического характера, перенесение центра тяжести на специальные и локальные исследования. Как уже указывалось, на первый план все больше выдвигается проблематика областной истории, точнее — рассмотрение проблемы в областных границах. Растет убеждение в невозможности общезначимого ответа для сколько-нибудь обширных территорий. Локально ограниченные монографии рассматриваются как основной путь исторического познания.

Во французской историографии проблемы средневековой знати наибольшим влиянием все еще пользуется концепция Марка Блока². В ее основе лежит признание знати социальным классом, сложившимся в обществе раннего средневековья благодаря постепенному сосредоточению в его руках крупных материальных ресурсов (прежде всего земельных владений), политических и юридических привилегий, достаточных для того, чтобы занять исключительное положение в обществе и государстве. Следовательно, согласно этой концепции, «исключительность знати», ее социальный престиж в средние века не есть нечто такое, что восходит к «седой древности», к мистическому и исконному преклонению перед «лучшей кровью», а также не обусловлено в каждую данную эпоху «унаследованным» юридическим членением общества на замкнутые классы. Прежде чем стать фактом юридическим, знатность должна была стать фактом социальным, что предполагает длительный процесс формирования этого статуса. К тому же каждая эпоха вкладывает в понятие «знатный» свой смысл и значение, другими словами, вычленяет этот статус опираясь на другие критерии и

основания. Критерии, достаточные для определения знати в одну эпоху, уже недостаточны для ее определения в другую. Таким образом, не может быть и речи о неподвижности и строгой преемственности однажды сложившегося класса. В действительности различные периоды средневековья знали «свою» знать, характерную только для данного периода. Следовательно, и состав этой знати от периода к периоду должен был обновляться, изменяться, «формироваться» из различных элементов.

Таким образом, согласно концепции Блока, знать как общественный слой, с которым приходится считаться государственной власти, формируется только во Франкском государстве Каролингов. Над массой простых свободных этот слой возвысился прежде всего благодаря сосредоточению в его руках обширных земельных владений. С перенесением центра тяжести военной организации на кавалерию к имущественному расслоению в среде свободных присовокупилось сословное расслоение, обусловленное общественным разделением труда, монополией военного дела, поскольку служба в кавалерии (требовавшая значительных материальных ресурсов) стала рассматриваться как исключительная привилегия крупных землевладельцев. Наконец, возвышению знати содействовала постепенная узурпация ею политических и судебных прав публичного характера, т. е. превращение публичных функций в сословную монополию.

Поскольку через всю эту концепцию красной нитью проходит мысль о постепенном (только с возникновением социальных предпосылок) возвышении знати над простыми свободными, постольку ей органически чуждо допущение самой возможности рассматривать каролингскую знать как наследственное, юридически оформленное и обособленное сословие, восходящее к знати предшествующего периода. Но если социальное основание формирования знати торжествует над юридическим, наследственным, генетическим, то тем самым допускается не только текучесть ее состава, а и открытый ее характер, возможность «генеалогических перерывов» в принадлежности одного и того же рода к знати, не говоря уже о глубокой трансформации ее сущности. В самом деле, если творцом знати в конечном счете выступает социальный процесс, то не правомерно ли допустить, что тот же процесс, претерпев определенные изменения, соответственно

изменит не только содержание понятия знатность, но и состав и структуру знати, ее специфику, характерные черты? Следовательно, из концепции Блока напрашивается вывод: на каждой стадии вследствие перемен в социальной действительности возникает новая знать. Старая знать либо гибнет, либо адаптируется и ассимилируется. Такой вывод и сделан последователем Блока — П. Фешером³. Он кажется более правильным, чем утверждения их оппонентов. Для Фешера знать классического и, тем более, раннего периода — слой, лишенный юридического характера (т. е. черт замкнутого сословия).

Концепция эта в немногих словах резюмируется в синтетическом труде Р. Бутрюша «Сеньория и феодализм»⁴. Светские вассалы формируют аристократию, которая выделяется из среды свободных своим достатком, образом жизни и наличием у нее прав управлять и принуждать. Эта знать, то и дело включавшая «новых людей» и «очищавшая себя» от тех членов, которые не в состоянии были более поддерживать свой престиж, представляла собой текучее и изменчивое целое, весьма неопределенное в смысле внешних границ. Для обозначения этих элементов писцы наиболее часто употребляют термин *nobilis*, обозначающий не юридическую принадлежность к определенному классу, а общественное положение, отличное от бычного, выдающееся. Одним словом, это скорее знать *de facto*, а не признанное, оформленное в праве сословие.

В течение X в. термин *nobilis* уступает место термину *miles*. В этой смене терминологии отразилась социальная и военная трансформация каролингского общества: аристократизация военного дела, превращение последнего в монополию знати. Процесс идентификации социального статуса знати с определенными общественными функциями завершился в XI в. С того момента, когда рыцарство сделалось статусом наследственным (в течение XI в.), оно превращается в класс привилегированный и вместе с тем далеко еще не замкнутый. С другой стороны, обладание сеньорией (с конца X в.) выступает как достаточное основание для того, чтобы числиться среди знати и не будучи посвященным в рыцари. Но такого рода случаи печасты. Нормой является совпадение обоих состояний — рыцарского и «знатности»: рыцарство стало знатью по преимуществу, ее олицетворением.

Для завершения этой концепции осталось ответить еще на последний вопрос: как совместить ее с хорошо известным фактом существования знати в качестве юридического наследственного сословия в позднее средневековье? Ответ Блока и его школы сводится к следующему: знать превращается в юридически оформленное сословие сравнительно поздно — в XIII в., когда на историческую арену выступили опасные для нее конкуренты, носители нового вида богатства — денежного капитала. Лишь тогда понадобились юридические «валы» для защиты исключительности и привилегированности богатства земельного.

В последние годы (на материале Эльзаса) А. Дюбле⁵ развил концепцию Блока применительно к XI—XIII вв. Основной тезис его сводится к тому, что и в позднее средневековье знать не становится полностью закрытым сословием. С VIII по X в., отмечает он, в среде свободных не было юридически определенного класса знати, хотя и существовала аристократия *de facto*, чье могущество основывалось на обширном землевладении. С XI в. возникает подлинная знать не только в социальном, но и в юридическом смысле. Однако это качество приобреталось ею постепенно. Критерием принадлежности к знати становится военно-рыцарская служба. Три факта должны были слиться воедино, чтобы возник подобного рода статус: военная профессия, обладание бенефицием и вассалитет. Однако еще долго они существуют раздельно или в различных комбинациях. Наиболее важная из них — соединение военной службы и бенефиция.

К концу этого периода общество предстает разделенным на два основных класса: *nobiles* (благородные) и *ignobiles* (простолюдины). Первых зачастую противопоставляют крестьянам (*rustici*), как и горожанам (*cives*). Вместе с тем слияние министериялитета с рыцарством перечеркнуло прежнюю стратификацию служилых, основанную на антитезе *liber* — *servus*, так как немало сервов-министериялов оказалось в среде благородных. Понятие свободы и понятие знатности теперь сливаются, становятся синонимическими. Знать с конца XIII в. делается наследственным классом. Однако он не был полностью закрыт для новых людей. В частности, доступ в него открывался королевским актом, жалующим дворянство.

Еще дальше в этом направлении продвинулся Э. Перруа⁶. На материале Фореза XIV—XV вв. он показал, насколько текучим был состав и этого формально наследственного юридического класса. Из 60 изученных им фамилий знати указанного графства начиная с 1314—1315 гг. 33 было рыцарских, а 26 не имели этого звания (из них 11 так и умерли, не став рыцарями). Из 16 «благородных» 6 были посвящены в рыцарское достоинство до 40, 5 — до 50, 4 — до 60 лет. Исчезновение одних знатных фамилий и их «замещение» пришельцами извне оказалось столь интенсивным, что Перруа вынужден констатировать: в XIV в. знать здесь обновилась на одну треть, т. е. была по существу открытым классом. В ее среду вошло множество новых людей: браки с наследниками и наследницами, имущественное состояние, служба, пожалование — таковы обычные пути «облагораживания». Иными словами, став юридическим классом, знать, тем не менее, оставалась классом открытым.

Обращает на себя внимание и методика исследования, характерная для Блока и его последователей. Изучение любой проблемы должно базироваться только на комплексном изучении всех источников, относящихся к определенному району, интерпретируемых с помощью сведений, добытых обширным кругом историко-вспомогательных наук. Эта методика близка к обрисованной выше методике «областной истории», так как изучение широкой общенациональной или даже международной проблемы осуществляется сквозь призму источников локальных. Однако для направления Блока помимо этого характерна количественная, статистическая оценка показаний источников по данному вопросу, их «привязывание к определенному месту и времени». Факт должен интерпретироваться только с помощью современных ему фактов и обстоятельств, по возможности наблюдаемых в одном и том же районе, в одно и то же время.

Эта своеобразная хронологическая стратификация свидетельств (последнее — по времени — членение) дает возможность различать отдельные стадии в развитии одного и того же явления, а сопоставление каждого свидетельства, почерпнутого из одного типа документов, со свидетельствами всех других типов источников делает интерпретацию каждого факта менее зависящей от случайностей. Так преодолевается неизбежная фрагментарность

сведений уцелевших источников, преодолевается опасность случайной интерпретации при работе с отрывком, вырванным из контекста. Таким образом, целостный анализ каждого источника (т. е. всего его содержания) сочетается в этой методике с одновременным изучением всех других современных ему источников. Хотя очевидно, что сама по себе методика — сколь совершенной она ни была бы — еще не застраховывает от ошибочных выводов, обусловленных ошибочным истолкованием исторического процесса в целом, тем не менее в указанной методике сделано многое для того, чтобы избежать «импрессионизма».

При всех несомненных достоинствах в концепции самого Блока имеются и слабые пункты. Прежде всего, она представляет собой образец слишком широкого обобщения и недостаточно учитывает многочисленные локальные отклонения и противоречия. Во-вторых, социальное начало слишком резко противопоставляется юридическому его выражению. В реальной действительности средневековья социальное неизбежно становится (в той или иной мере) юридическим. В свою очередь, правоотношение, однажды появившись, приобретает способность надолго «застывать» и после исчезновения вызвавших его к жизни реалий. Наконец, в этой концепции судьбы знати в целом затмили судьбы отдельных ее прослоек, а они были далеко не тождественными.

Так, Блок исходил из допущения, что знать каролингской эпохи почти полностью исчезла к концу IX в. и, следовательно, новая «феодалная» эпоха начинает с конституирования «совершенно новой знати». Действительность, однако, не была такой «завершенной». Нельзя упускать из виду, что одна эпоха завещала другой и значительную часть своей, пусть даже «фактической», знати. Разумеется, в новых условиях эта «старая знать» могла потерять прежнее политическое значение, но она сохраняла в той или иной мере вместе с материальными ресурсами социальный престиж. Браки с «новыми людьми» в каждую эпоху «омолаживали» унаследованную знать. Не выдержал проверки времени и тезис о превращении знати в закрытое сословие (с середины XIII в.). Многочисленные исследования, осуществленные в последние годы (в том числе и последователями Блока), обнаружили исключительную мобильность и текучесть состава этой

поздней знати, факт непрерывного его обновления (из среды министриалов, денежных людей и т. д.).

Изложенная концепция встретила резкую критику со стороны представителей направления, в наиболее законченной форме представленного бельгийским историком Л. Веррье⁷. Решительно отвергая научную значимость социально-экономического анализа общественной структуры средневековья, Веррье признает лишь правомерность юридической трактовки этой структуры, в том числе и проблемы знати. Средневековое общество, полагает он, расчленено на исконные юридические классы, поэтому определение термина «класс» может быть только юридическим. Другими словами, это — социальная общность, полностью закрытая, строго наследственная и тем самым на протяжении истории данного общества изначальная и неизменная. Отсюда, как мы увидим ниже, совсем уже близко к концепции западногерманской школы Теодора Майера. Преемственность, наследственность (по крови) — основная линия «эволюции» знати с момента появления древних германцев на исторической арене. Но тем самым исключается не только факт исторического генезиса знати — в рамках средневековья, но и социальной (вертикальной) мобильности в этом обществе, так как все градации оказываются для данной структуры заданными и в то же время по существу «конечными». Как известно, наиболее спорными вопросами в этой области до сих пор остаются: может ли быть установлена преемственность между знатью периода варварских королевств и знатью эпохи Каролингов, и далее — между этой последней и знатью XI—XII вв.? Являлась ли знать только социальным классом *de facto*, т. е. классом, связанным с обладанием сеньориями, или предполагались также «монопольные» общественные функции? Имел ли место в истории этого класса период «самоутверждения», прежде чем он стал в течение XIII в. классом, юридически признанным?

Не считая, что племенная знать у франков времени Меровингов (а она мыслится в качестве потомков *principes* Тацита) полностью исчезла, Веррье стремится установить связь между знатью VI—VIII вв. и знатью последующих эпох. И хотя для единичных фамилий такая преемственность устанавливается, она редко прослеживается дальше IX в. Однако для Веррье и этого доста-

точно для вывода о преемственности знати как «закрытого» класса, передающего во все времена только по наследству связанные с этим статусом юридические привилегии. Отсюда его стремление считать термины *liber* и *nobilis* синонимами уже для раннего средневековья. Между тем, как показали новейшие исследования, они еще не являлись таковыми даже в X в. Для каролингской эпохи *nobilis illustris*, как уже подчеркивалось, это просто выражения относительного социального престижа, превосходства над массой простых свободных, обозначение более высокой степени почтения, обусловленное прежде всего превосходством имущественным (Бутрюш). Между тем Веррье усматривает в этих терминах указания на личный (юридический) статус данного лица, основанный на происхождении. По его мнению, до конца XIII в. статус этот передается по материнской линии (*partus sequitur ventrem*). Переход к наследственному дворянству, передаваемому по мужской линии, Веррье связывает с введением «жалованного дворянства».

В противовес Блоку, считавшему, что переворот X в. (трансформировавший знать и утвердивший ее на новой основе) заключался в перенесении центра тяжести понятия знатности на рыцарство (поскольку вассалитет окончательно слился с ленной системой), Веррье утверждает, что знатность и рыцарство суть состояния различные. «Рыцарская профессия», утверждает он, ничего не привносит в знатность, точно так же как и знатность не влекла за собой автоматически приобретение сеньории. Иными словами, по его мнению, это «состояния», продолжавшие и после XI в. существовать параллельно. Такого допущения требует его концепция, поскольку он, с одной стороны, не может отрицать, что рыцарство еще оставалось и после X в. открытым «сословием», с другой стороны, знать мыслится им в качестве изначально наследственного и закрытого состояния. Только постепенно, подчеркивает Веррье, рыцарство приобретает оттенок наследственности, а с середины XIII в. рыцарское «достоинство» резервировалось только для знатных. Не рыцарь «создал дворянина», а дворянство после 1250 г. питало и поддерживало рыцарство.

Вообще, в изображении Веррье, общество эволюционирует столь медленно, что историку дано констатировать лишь конечный результат эволюции, это — процесс, почти

незаметный на протяжении веков. Разрывая связь между социально-экономическим состоянием индивидуума и его юридическим статусом, Веррье уничтожает всякую возможность социального обновления господствующего класса. В его концепции, помимо всего прочего, имеет место возведение единичного во всеобщее, отдельного случая в универсальный закон. Это хорошо видно на примере тех иллюстраций преемственности знати, которые приводит Веррье. Хорошо известно, что очень трудно проследить генеалогию знатных фамилий VI—VII вв. за пределами X в. Трудность объясняется тем, что в ту пору отсутствовали еще устойчивые родовые прозвища. Идентификация «рода», основанная лишь на одном имени, всегда таит неизбежные ошибки. Если таково состояние источников, фиксировавших генеалогию крупной знати, то что же сказать о знати средней и мелкой, почти не оставившей и следа своих родословных в дошедших до нас источниках.

Кроме того, в ту пору каждый предпочитал родословную (безотносительно — отцовскую или материнскую), в которой числился более знатный предок. Конечно, можно при желании, как сделал К. Вернер, доказать преемственность ряда фамилий крупной знати начиная с каролингского времени и вплоть до конца X в. Так, исследуя состав знати парижского бассейна, К. Вернер⁸ установил, что господствующие фамилии X в. были здесь уже основательно «укоренены» в 845 г., составляя постоянное окружение Роберта Сильного.

В среде этой знати различаются два слоя: имперская знать (элита), которая связана в пределах всей страны узами родства и службы. Ниже ее расположен слой местной аристократии, который, в свою очередь, подразделяется на два слоя: 1) графы и виконты, 2) королевские вассалы и викарии. В лице последних представлены боковые линии графского рода.

Разумеется, эти данные значительно модифицируют концепцию Блока, в которой эта преемственность верхушки каролингской знати ко времени Капетингов игнорируется. Однако генеалогические изыскания Вернера не коснулись самого обширного слоя мелкой и средней знати. Вернер отметил, что даже вассалы короля не встречаются в списках свидетелей и поэтому о них нельзя сказать ничего определенного. Между тем именно низ-

пую и среднюю знать имел в виду Блок, говоря о «новой знати» X в. Древние знатные роды времени Каролингов, отмечает Бутрюш, не могли конституировать знать X в. ни количественно, ни качественно. Благородная кровь пополнилась крестьянской — это были люди, ставшие рыцарями и, в меньшей мере, приобретшие феоды. С начала XIII в. этот приток угрожал знати «уничтожением», и она вынуждена занять оборонительную позицию: запрещается доступ в рыцари незнатным, делаются попытки регламентировать приобретение фьефов.

Вся методика Веррье приводит к тому, что он возводит исключительное в ранг нормативного и отбрасывает новое, т. е. сущность процесса, как отклонение от нормы. Тем не менее отдельные наблюдения его, безусловно, заслуживают внимания. Так, справедливо его замечание, что многие рыцари не причислялись к знати (особенно к востоку от Рейна), точно так же как и то, что многие знатные не являлись рыцарями. Справедливо и то, что не произошло полного слияния между знатью и обладателями сензорий — фьефов (многие из последних были буржуа); как не было и необходимой связи между знатностью и обладанием аллодом (аллодами владели нередко свободные крестьяне и даже сервы). Однако, поскольку вся аргументация Веррье основана на противопоставлении от начала до конца «закрытого» характера знати и открытого характера рыцарства (рыцарем не рождаются — им становятся; так же вассалитет — отношение только пожизненное, он требует оммажа, фьеф — инвестируры, статус же знатного наследуется). Им же сделанные наблюдения остаются необобщенными. В результате последователи Блока могут с полным основанием упрекать Веррье в том, что он не желает видеть за неизменностью слов изменяющееся в ходе истории их значение, изменения в составе носителей этих понятий, чье сознание они отражают.

Формальный юризм концепции Веррье очевиден. Юридический статус человека — безжизненная абстракция, если он рассматривается безотносительно к социальной среде, в которой статус «функционирует», реализуется. Социальный класс есть действительный субстрат класса юридического. Последний же есть форма функционирования первого. Именно поэтому социальное есть нечто более реальное, жизненное и в конечном счете торжествую-

щее в столкновении с юридической формулой. В этом смысле большая часть знати существует долгое время как класс *de facto*, прежде чем быть признанной в праве. И если рыцарство начиная с X в. и не играло роли единственного формирующего ее начала (знать, унаследованную от предшествующей эпохи, сбрасывать со счетов полностью нельзя), то за ним все же следует признать первостепенной важности роль в кристаллизации средневековой концепции знати в целом и в формировании ее в реальной действительности.

Промежуточную позицию между изложенными выше концепциями занимает бельгийский историк Женико, следующий по одним вопросам — за Блоком, а по другим — за его оппонентом Веррье. Помимо ряда статей, Л. Женико⁹ посвятил проблеме средневековой знати второй том своего исследования по истории экономики Намюра. Из трех возможных ответов на основной вопрос дискуссии о том, каково происхождение средневековой знати: 1) прямое продолжение древнегерманской знати, выступающей в каждую эпоху в новом облике (служилая знать — *Dienstadel*, землевладельческая знать — *Landsadel*), т. е. юридически закрытый, наследственный класс; 2) в каждую эпоху это в основе своей совершенно новый класс (концепция генеалогического «разрыва» между знатью различных эпох), т. е. социальный класс; 3) сословие, сложившееся в результате длительной эволюции знати франкского периода, время от времени пополнявшейся новыми людьми (юридический и вместе с тем открытый класс), — Женико явно склоняется к первому, поскольку это относится к раннему средневековью, и к третьему — применительно к истории знати в XI—XV вв. Точно так же из трех возможных толкований термина *pobilis* (личный статус, точнее — престиж данного лица, социальный статус, статус юридический) Женико решительно склоняется в пользу юридического его толкования (включая, однако, и фактор социального статуса). Сочетание разноречивых элементов и составляет особенность концепции Женико.

По его мнению, знать раннего средневековья в одинаковой степени может восходить как к *principes* Тацита, так и к высшим министрам варварских королевств, даже к сенаторской знати римских провинций. Удельный вес этих прослоек в конституировании средневековой зна-

ти, естественно, варьирует от одной области к другой. Так, в Аквитании (вообще к югу от Луары) среди перечисленных прослоек удельный вес последней в формировании средневековой знати был особенно велик, в то время как, к примеру, в Нижней Германии он практически может не учитываться. С другой стороны, в Саксонии, Тюрингии, Алемании, Баварии особенно велика должна была быть роль первой из перечисленных прослоек. Женико подчеркивает, что в документах раннего средневековья знать выступает как класс не только *de facto*, но и как сознающий себя в качестве такового в реальной действительности: практика браков только с равными по «достоинству», после смерти — обособленные кладбища и т. д. Женико ставит вопрос: конечно, это был класс прежде всего социальный, но не являлся ли он уже с самого начала и классом юридическим, наделенным лишь только ему принадлежащими привилегиями, передающимися по наследству в одном и том же роде, привилегиями, не зависящими от превратностей материального достатка этих родов? И, приближаясь к позиции Веррье, Женико отвечает на этот вопрос утвердительно.

Положение оптиматов VI в. мало чем отличалось от положения *principes* в тацитовской «Германии». Этот статус, проходящий красной нитью через всю историю знати, характеризовался изначально одним словом — «свобода», которая превращала каждого германца в государство «в самом себе». К моменту варварских завоеваний «свобода» эта уже потеряла абсолютный характер. И хотя в следующий период знатные должны были вступить «в отношения верности королю», олицетворявшему теперь верховную политическую власть, их положение, тем не менее, резко отличалось от положения простых свободных.

Последние были медиатизированы, т. е. подчинены власти королевской администрации, в то время как одна знать оставалась свободной, т. е. в непосредственном подчинении королю. Именно непосредственная связь с королевской властью стала в это время признаком «полной свободы». Толкуя понятие «полной свободы» как свободу личности и принадлежащего ей имущества от каких-либо обязательств по отношению к кому бы то ни было, Женико по существу только знать признает единственно «свободным сословием» раннего средневековья. Знатный

этой поры — иммунист, ибо он «подлинно и полностью свободен». Он суверенно распоряжается своим имуществом — правом. Более того, он управлял теми, кто жил в пределах его владений. По отношению к последним знатный — господин, так как он осуществляет право бана (право приказывать, принуждать и наказывать), он обладает юрисдикцией, он — арбитр и защитник своих «подданных». Его право на вооруженную свиту дополняет статус знатного. Трудно оспаривать мнение, что все эти «привилегии передаются по наследству», заключает Женико. Однако в силу чего — в силу родовой, унаследованной знатности или в силу преемственности материального и, следовательно, социального положения? Для VI—VIII вв. Женико считает «преемственность по крови» важнее всех других факторов.

Вместе с тем в отличие от Веррье Женико не связывает унаследование этого статуса со «стороной матери» — сторона (отцовская или материнская) безразлична. Он также задумывается над вопросом: достаточно ли было одной «крови», не должна ли она была соединиться с обладанием аллодом? Иными словами, характеризуя знать раннего средневековья в качестве класса юридического, он вводит в эту характеристику элемент социальный, владельческий (аллод), хотя, как мы видели, ему явно отводится роль второстепенная.

С 950 по 1050 г. знать подвергается трансформации. Умножаясь количественно, она слабеет экономически. Младшие ветви отчуждают свои владения и привилегии — право бана и юрисдикции. Тем самым многие из них теряют «свободу» и оказываются в рядах людей, зависимых от церкви (так называемых цероцензуалов и министриалов). Старшие же ветви сохраняют «свободу». С другой стороны, незнатные до тех пор рыцари захватывали в свои руки привилегии бана и юрисдикции или получали их вместе с фьефом. Таким образом, функции публичной власти перестали быть монополией наследственной знати. Вскоре к рыцарям присоединились и некоторые разряды министриалов, они нередко приобретали сеньории и вместе с ними — права их бывших владельцев. Наконец, монополия «полной свободы», которой ранее выделялась знать, была подорвана городами, которые постепенно приобретали «свободу», близкую по характеру к «свободе» знати. К тому же многие горожане

приобретали фьефы и иммунитетные привилегии, «облагораживавшие их», по крайней мере, социально.

Сущность обрисованного процесса Женико характеризует как интеграцию знати с феодализмом и ее инкорпорацию в феодализм. Знать с политико-юридической точки зрения уже не является больше столь независимой и суверенной, как ранее. Падают барьеры между древними линиями знати и новой «знатью de facto» — феодальным рыцарством. Вся структура сдвинулась в сторону последнего. В строгом смысле слова, знатным теперь является рыцарь (miles). Хотя этот статус, как и прежде, характеризовался понятием «свобода», однако свобода эта стала менее всеобъемлющей и более конкретной (свобода от податей и т. д.). Знатный остается «политической личностью», у него своя печать. Но у него не всегда право бана. К середине XIII в. только некоторые из фамилий старинной знати сохранили родовые владения. Более половины этих фамилий вообще не сумели сохранить принадлежность к сословию. С другой стороны, рыцари к этому времени официально титулуются как знатные. В свидетельских списках эти два слоя уже не различаются. Не посвященные в рыцари знатные перечисляются после рыцарей. С этого времени рыцари вошли в состав наследственной знати (сын пользуется привилегиями отца, даже не будучи посвященным в рыцари).

В последние годы XI в. браки между рыцарями и старинной знатью становятся обычной практикой, на всех рыцарей распространяется титул «благородный» (nobilis). И это при условии, что рыцарей в реальной действительности становится все меньше (из-за больших расходов, связанных с посвящением в рыцари). Достаточно было кому-либо найти среди своих предков (вплоть до седьмой степени родства) рыцаря, чтобы на него распространились все привилегии «знатного», т. е. свободного. Эта «новая знать» была, следовательно, таким же юридическим классом, как и старая знать. Как и последняя, она обосновывала привилегии ссылкой на «прирожденное право», т. е. на статус предков, хотя те в свое время отнюдь не всегда причислялись к знатным.

Такова в общих чертах концепция Женико. Она действительно является «промежуточной» между двумя крайними точками зрения. С одной стороны, в ней признается «наследственный» характер знати в истории ран-

него средневековья, поскольку она, по мнению Женико, конституировалась только по рождению. С другой стороны, в ней по существу признается открытый характер знати классического и позднего средневековья, поскольку в нее вошел обширный слой «новых людей», ставший в конечном счете олицетворением знати как таковой. Но тем самым признан социальный характер этого класса, лишь впоследствии получивший юридическое оформление.

В таком случае остается непонятным, почему нельзя предположить аналогичный характер этого класса и для раннего средневековья, в особенности на территории Галлии. Естественно, что понятие «знатный» в эпоху становления феодализма было более сложным, более многозначным (как и понятие «свободный»), чем в пору классического феодализма. Точно так же очевидно, что «унаследованная» знатность должна была играть на первых порах гораздо большую роль в конституировании этого класса, чем в X—XII вв. Однако позволительно спросить: не преувеличивается ли значение этого фактора по той простой причине, что генеалогические исследования знати раннего средневековья охватывают, как правило, только элиту, а не класс знати в целом?

Но самое важное заключается в другом: сторонники юридической концепции знати почти полностью отвлекаются от самого решающего признака «знатного» в средние века — принадлежности к классу, живущему за счет феодальной ренты, ибо в конечном счете в ходе истории именно этот признак получает юридическую фиксацию. Следовательно, и исторические судьбы знати были намного сложнее, чем это вырисовывается из современных буржуазных концепций «знати».

В итоге придется отметить, что ни одна из указанных выше концепций не дает целостного решения вопросов, связанных с проблемой средневековой знати. И дело здесь не только в априорном характере этих концепций, в большей или меньшей роли субъективного элемента. Основная причина заключается в чисто методологических пороках этих концепций. Их не избежала даже наиболее, казалось бы, цельная из них — концепция Блока. Отправляясь от верного тезиса, что знать раннефеодальной поры — совершенно новая знать, Блок вместе с тем не раскрыл сущности этой новизны — почему бессмысленно

искать «предков» ее в лесах древней Германии? Временами сказывается в концепции Блока и узость формального юридизма. Блок мыслит знать в качестве закрытого, наследственного сословия с середины XIII в., т. е. как раз с того времени, для которого новейшими исследованиями установлена текучесть ее состава. Откуда эта непоследовательность? Она, несомненно, обусловлена тем, что Блоком недостаточно осознан противоречивый, антагонистичный характер всех общественных связей, в том числе между социальным основанием и юридической надстройкой, факт борьбы и взаимопроникновения противоположностей.

Что же касается концепции Веррье, то статичность исторического мышления в ней просто поразительна, формальная логика совершенно скрыла от исследователя живую действительность. Когда же объективный и вместе с тем далекий от марксизма ученый пытается преодолеть эту удручающую односторонность (пример такой попытки мы усматриваем в концепции Женико), ему открывается лишь возможность чисто механического соединения разнородных элементов, заимствованных из противоположных концепций (в трактовке истории знати до X в. Женико, как мы видели, предпочитает придерживаться концепции Веррье; для позднего периода он склоняется к концепции Блока). Естественно, что логика самой истории при этом приносится в жертву логике исторической конструкции.

При всех недостатках франко-бельгийская историография в послевоенные годы добилась значительного расширения фактического материала, доступного ныне для анализа. Вовлечение в поле зрения новых районов и их монографическое исследование по единой программе обещает в недалеком будущем возможность перенести всю дискуссию по интересующему нас вопросу на более твердую и плодотворную почву.

Западногерманская и швейцарская историография

По существу те же три концепции средневековой знати представлены в трех направлениях современной западногерманской и швейцарской историографии. Концеп-

ция Ф. Вернли в основном близка к концепции Блока, направление Т. Майера и Г. Миттайса роднит его приверженцев с Веррье, наконец, западногерманская школа Г. Телленбаха занимает в определенном смысле промежуточное положение между полярными точками зрения.

Швейцарский медиовист Ф. Вернли¹⁰ сосредоточил свое внимание на проблеме свободы в средние века, и поэтому о его концепции более подробно будет сказано ниже. Здесь же достаточно заметить, что он решительно предпочитает классическую теорию середины XIX в. «самоновейшим» построениям и домыслам школы Т. Майера. Так, об общественном строе древних германцев Вернли пишет: «Германское государство не было ни господством знати, ни чистой демократией». В этом строе, по его мнению, взаимодействуют две силы — знать и народ. Соотношение этих сил на различных этапах истории и составляет ее содержание вплоть до позднего средневековья. Полемизуя со сторонниками Майера, Вернли не только вскрывает всю меру фальсификации ими истоков истории германского народа, но и указывает на подоплеку этой фальсификации. Отвергая тезис Данненбауэра, будто древнегерманская дружина была уже орудием господства знати над соплеменниками, Вернли не без сарказма пишет, что источники не позволяют обнаружить у древних германцев «партию фюрера» с «отрядами штурмовиков». И далее: поскольку «германские начала» во всех отношениях выставляются как прообраз (гитлеровской «современности»), постольку демократические элементы должны быть из них удалены, в том числе из древнегерманской истории. Истины ради следует отметить, что концепция Вернли имеет мало последователей в новейшей историографии Западной Германии, что достаточно красноречиво характеризует, насколько она отделилась от собственных традиций середины XIX в.

Школа Г. Телленбаха (У. Флекенштейн, Ф. Фольмер, И. Воллаш, К. Шмидт, Р. Шпрандель, близок к ней и А. Бергенгрюэн)¹¹ сосредоточила свои усилия на исследовании сравнительно короткого, но зато чрезвычайно важного периода в истории средневековой знати — франкского и раннегерманского. Работы этой школы выделяются не только оригинальной постановкой исследовательских проблем, но и своеобразной методикой исследования. Исходя из ряда идей Телленбаха (наиболее важной из них

является осмысление франкской знати как знати «имперской», т. е. как функционирующей политически в качестве приближенных короля и его «порученцев» не в одной какой-либо области, а в пределах всего государства, отсюда название, данное этой знати, — имперская знать), его ученики и сотрудники ведут исследования главным образом в двух направлениях: одно из них преследует цель обосновать тесную связь знатных фамилий различных областей Франкского государства как между собой, так и с королевским двором; другое доискивается доказательств длительности и непрерывности отдельных знатных родов во времени, иными словами — устойчивости правящей элиты вопреки драматизму политических событий.

Отвлекаясь пока от степени доказательности этих и других идей школы Телленбаха, хотелось бы обратить внимание на несомненную новизну и плодотворность исследовательской методики этой школы. Первое, в чем она — в этом плане — преуспела: она вырвалась из того, казалось, заколдованного круга источников, в котором десятилетиями, если не веками, вращалась историография франкского периода. В связи с тем, что школа эта обратилась за помощью к комплексу современных историко-вспомогательных дисциплин, она сумела по-новому подойти и к традиционным источникам, прежде всего к грамотам. Списки свидетелей, приводящиеся обычно в грамотах, как бы зажили новой жизнью, приобрели новый смысл и значение, равно как и упоминающиеся в них географические названия. «Привязывая» имена «свидетелей» к определенному географическому пункту и «связывая» «свидетелей» между собой, исследователи получили возможность воссоздать социальный облик обширного слоя знати, которую иными путями изучить было невозможно. По-новому интересующая нас школа подошла к «житийной» литературе. В связи с тем, что в «житиях» содержатся обширные сведения по генеалогии «святых» и встречается много имен знатных современников, их покровителей и сподвижников, ученые получили возможность реконструировать весьма древние слои франкской знати. В результате методика, как будто бы узко направленная, пригодная для решения строго ограниченных задач (прежде всего — для реконструкции семейных хроник отдельных знатных фамилий), оказалась в действи-

тельности гораздо богаче, эффективней. Она создала возможность взглянуть на социальную историю через призму истории политической, как и с помощью первой раскрыть многие загадки последней. Так благодаря установлению политической роли, точнее — положения отдельных лиц в той или иной области Франкского государства, мы получили объяснение некоторых сторон формирования крупного землевладения на данной территории; стало ясным происхождение многих светских и монастырских вотчин, их связи между собой, связи между церковью и ее светскими патронами. Приоткрылась завеса, скрывавшая до сих пор роль королевской власти в процессе формирования крупного церковного и светского землевладения во франкскую эпоху. Изучение «житийной» литературы и материала грамот пролило новый свет на этническую принадлежность многих представителей правящей знати при Меровингах, на особенности семейного и наследственного права.

С другой стороны, обогатились и наши знания политической действительности франкского периода, в частности механизма управления — центрального и местного. Установлен для данной эпохи круг людей, которые более или менее регулярно привлекались для выполнения важных дипломатических, политических и военных миссий в Тюрингии, Алеманнии, Италии. Если иметь в виду «имперский» и одновременно локальный характер правящей знати, то по-новому раскроется значение многих политических фактов (скажем, такого, как эдикт Хлотаря II 614 г. и ряд других). Разумеется, наибольший интерес представляет выяснение этнического и локального происхождения правящей верхушки каролингского и раннегерманского периода. Ее тесные связи с родом Пиппидов раскрывает строго «доверительный» характер всей системы центрального и местного управления. Тот же характер носит система замещения наиболее важных церковных бенефициев. Появилась возможность проследить судьбы меровингской знати и ее землевладения в каролингскую и более позднюю эпоху.

Однако, отмечая плодотворность ряда сторон школы Телленбаха, мы не можем пройти мимо ее существенных методологических пороков как в постановке исследовательских проблем, так и в самой методике исследования. Прежде всего, бросается в глаза априорный характер

многих отправных положений этой школы. Таковы, например, гипотезы об имперском характере знати не только с точки зрения ее функций, но и с точки зрения ее генезиса.

Так же очевидно, что методика исследования, применяемая этой школой, не позволяет составить впечатление о господствующем классе в целом как общественном классе меровингского общества. Речь может в лучшем случае идти о верхушечной прослойке данного класса, о правящей знати. А это далеко не одно и то же.

Далее, методика школы Телленбаха позволяет в лучшем случае рассмотреть эту прослойку лишь с одной стороны, а именно в ее взаимосвязях с королем, тогда как проблема формирования знати «снизу», т. е. в процессе социальном, остается в тени. Таким путем удается легко прийти к заключению, что весь этот класс, как и вотчинный строй землевладения, — творение государства.

Эта односторонность в подходе к проблеме знати (политический подход) отразилась в утверждении Телленбаха, будто раннее и классическое средневековье не знало грани «между обществом и государством; связь здесь — непосредственная» (т. е. через знать). Разумеется, государство не «противостоит» знати, и прежде всего правящей, но вопрос заключается в другом: в какой мере знать «представляет» общество? По признанию самого Телленбаха, в исследованиях его школы речь идет по преимуществу о высшем, придворном круге знати, о ведущем слое, в который входят наиболее почтенные (ввиду приближенности к королю), влиятельные фамилии, так как именно они прежде всего оставили след в «памятных книгах» приходов (поминальных записях), надгробиях, посвящениях, житиях, дипломах, завещаниях и других источниках. Но можно ли после этого говорить о знати в целом, о ее структуре, ее землевладении, генезисе? Что мы узнаем о знати локального (а не имперского) значения, чьи имена встречаются лишь эпизодически в указанных источниках? Насколько эффективны здесь методы генеалогии при условии отсутствия родовых имен, прозвищ? Можно ли идентифицировать какое-либо лицо только на основании совпадения имен, какова научная ценность таких «идентификаций», не превращаются ли методы генеалогии в игру ума, в «упражнение по

комбинаторике»? (Такое впечатление, в частности, оставляют отдельные идентификации в работе Р. Шпранделя.)

До сих пор речь шла о методике исследования интересующей нас школы. Что же касается исторической концепции, то она столь же далека от последовательности. Хотя с точки зрения общей концепции социальной истории раннего средневековья, школа Телленбаха стоит намного ближе к направлению Блока, чем к направлению Т. Майера (по крайней мере, в основном вопросе — об «изначальной» структуре франкского общества — школа Телленбаха признает факт существования обширного слоя простых свободных, составлявших фундамент общества в целом), однако, поскольку основное внимание этой школы сосредоточено на истории правящей элиты VI—X вв., генезис знати как социального класса, феодального сословия в целом искажается. Знать, согласно этой концепции, возвышается благодаря фактору военно-политическому, т. е. явно вторичному, поскольку генезис ее рисуется как нечто, не имеющее прямого отношения к социальным процессам, происходившим в среде простых свободных. Развитие этих двух, по терминологии буржуазной историографии, «сословий» изображается как процесс, протекающий в различных плоскостях.

Как уже отмечалось, генезис франкской знати оказывается в анализируемой концепции тесно связан почти исключительно с судьбами королевской власти и поэтому полностью разделяет превратности этой власти. С другой стороны, если близость к королю — решающий фактор в процессе формирования знати, то тем самым этот процесс невольно признается для каждой эпохи заново повторяющимся, исторически обусловленным. В данном случае он обусловлен стечением политических обстоятельств (скажем, сменой династии), а не просто биологически, так сказать, предписан предыдущей эпохой.

Таким образом, по вопросу о «прерывности» или «преемственности» в составе знати школа Телленбаха стоит на точке зрения, близкой к признанию состава знати в каждую эпоху в качестве производной от общей государственной политики. Так как каждая династия создает в конечном счете свою знать, то складывается впечатление, что школа Телленбаха не склонна считать знать раннего средневековья издревле наследственным и юридически закрытым классом.

Однако не все последователи Телленбаха утвердились на такой позиции. Вернер и Шмидт определенно признают открытый характер знати вплоть до X в., после чего решающим фактором в ее формировании становится принцип наследственности, т. е. знать превращается в наглухо закрытое, строго юридическое сословие (в середине X в. имел место переход от служилой знати VIII—IX вв. к фиксированной, т. е. юридически определенной, знати). Воллаш же, Фольмер и отчасти сам Телленбах прилагают усилия скорее в обратном направлении, стремясь проследить «наследственную знатность» отдельных родов как можно дальше в глубь веков. Однако в отличие от Веррье они не закрывают глаза на важнейший факт, что и при генеалогической преемственности знати изменения ее состава и структуры в результате вторжения политических факторов могут быть весьма далеко идущими.

При всем том оба направления сходятся в признании «эпохального значения» VI в. в истории средневековой знати. В первом случае подчеркивается момент новообразования знати франкской поры, во втором — момент устойчивости знати. Примером построения первого рода может служить монография Беренгрюэна. Поскольку проблема происхождения франкской знати решается в ней сквозь призму генезиса крупного землевладения, постольку выводы этой работы были рассмотрены выше. Здесь же отметим только то, что, по мнению Беренгрюэна, знать в Галлии VI в. в качестве землевладельческого класса еще отсутствовала у франков. Это — служилая знать, конституировавшаяся единственно на основе простой свободы, но отнюдь не на принципе родовойности. Это знать должностная, развивающаяся вместе с королевской властью.

Близка к такой точке зрения и концепция Р. Шпранделя, хотя она далеко не столь последовательна. В Салической правде, подчеркивает Шпрандель, еще нет никаких указаний на существование у франков знати. Точно так же и Григорий Турский в применении к началу VI в. употреблял социально неопределенный термин *franci*. Только в середине VI в. мы впервые слышим о магнатах (*potentes*).

Следовательно, и для Шпранделя раннесредневековая знать по существу своему — новообразование. Вместе с

тем Шпрандель склонен придавать слишком большое значение в конституировании этой знати фактору «преемственности». Так, он указывает, что знать меровингской эпохи формируется, с одной стороны, из элементов галло-римской senatorской знати, а с другой — из среды ведущих франкских фамилий (что вкладывается им в это понятие — совершенно неясно). Упадок Меровингского государства обусловил упадок меровингской знати. Новая династия — Каролинги — окружила себя новой элитой. Австрозийская знать приобрела имперское значение.

Наконец, школа Телленбаха рисует господство знати безотносительно к объекту господства — населению вотчин. Проследившая почти исключительно «игру» политических сил: король — знать — церковь, историки этой школы дают по существу лишь плоскостное изображение знати, независимой, богатой, хорошо укоренившейся и разветвленной. Иллюзорность этой устойчивости создается, как уже отмечалось, несколькими княжескими родами, на которых сосредоточено почти все внимание. Между тем очевидно, что истинную меру преемственности знати удастся установить только после того, как будут изучены исторические судьбы среднего и низшего слоя вотчинников.

Итак, поскольку школа Телленбаха взялась за восстановление социальной истории знати в раннее средневековье, ее труды дали еще мало подлинно нового и значительного. В той же мере, в какой она стремится раскрыть новейшими методами социальной истории историю политическую, в частности правительственные формы и методы управления, труды этой школы, несомненно, знаменуют новый шаг в изучении этой истории. Исследования эти вообще помогут установлению более исторического взгляда на государственные формы раннего средневековья.

У Каролингов, подчеркивает Телленбах, не было «превосходящей силы государства, охватывающего полностью все части империи, обладающего монополией законного принуждения, использующего все хозяйственные ресурсы в форме налогов, благодаря чему оно может располагать хорошо дифференцированным чиновничьим аппаратом. Оно было лишь институциональной формой господства знати, управляющей от имени государства в собственных нуждах и опираясь на собственные ресурсы».

Что касается концепции знати школы Телленбаха в целом, то она снимает всю проблему социальной дифференциации варварского общества как основной предпосылки процесса его феодализации, заменяет ее историей отдельных знатных родов (Этихонов, Вельфов, Арнульфingов и т. д.). Разумеется, история подобных родов представляет несомненный интерес с точки зрения истории возникновения княжеских династий. Однако сводить всю историю средневековой знати к ней — значит проглядеть «за идеей знати» реальный класс.

Телленбах вынужден отметить, что и при генеалогической непрерывности знати политический вес определенных групп последней непостоянен, возможны социальные перегруппировки в ее составе, возвышение «новых» родов, исчезновение старых. Но если так, то какова «мера» преемственности? Какова ее роль в подлинной истории средневековой знати? Вообще же тезис о государственном происхождении знати роднит школу Телленбаха с «современной школой» Т. Майера.

Наиболее «новаторское» направление современной буржуазной историографии раннего средневековья представлено западногерманской «современной школой» (Т. Майер, Г. Данненбауэр, В. Шлезингер, К. Босл, О. Бруннер, Г. Миттайс и ряд др.)¹². Эта «школа» сложилась окончательно в 30-е годы нашего века. Националистическая идеология отразилась на ее построениях. Анализ прошлого с точки зрения исходных принципов этой идеологии обусловил его конъюнктурный характер. В качестве таких принципов провозглашались: извечность государства и аристократии как его исторического основания и воплощения; исконное деление общества на правящую элиту (меньшинство) и бесправное большинство, которым должно управлять; вождизм (фюрерство) и господство знати как исконная политическая форма германских народов и т. д. Выступив под знаменем ревизии «общепринятых концепций», унаследованных от буржуазно-либеральной историографии XIX в., эти историки выдвинули против них обвинение в «сплошной модернизации» истории средневековья. По мнению представителей «современной школы», историки-либералы в угоду собственным политическим идеалам и с целью возвеличения современного им конституционного строя заполняли историческую сцену плодами вымысла. Не только настоящее, но

и прошлое мыслилось ими в качестве воплощения этих идеалов.

Однако историки «школы» Майера (известной ныне под названием «современной школы») никак не желают заметить, что сами они оказались в роли модернизаторов куда более увлекшихся, чем критикуемые ими историки «либеральной» школы, с тем только отличием, что в прошлое на этот раз проецировался тоталитарный идеал государства и его реальное воплощение в Германии 30-х годов. Разумеется, среди последователей этого направления можно при желании обнаружить довольно значительные оттенки в отношении к действительности гитлеровского рейха, как и различную меру осознанности ими связи с его идеологией выдвигаемых ими исторических концепций. Тем не менее близость этих концепций в своем существе — факт весьма знаменательный. В ней раскрывается общность политических, идеологических и методологических предпосылок их исследований по социальной истории средних веков.

Исходными для концепций «современной школы» являются два положения. Одно из них гласит: история не знает ни перерывов, ни скачков, средневековье явилось восприимчивым социальных и правовых институтов древности, в частности общественного строя древних германцев. Средневековые институты — суть лишь внешне видоизмененные, а по существу те же институты последних. Итак, в истории германских народов господствует непрерывность развития. Другой тезис современной школы сводится к тому, что фундаментальный принцип всякой общественной организации — господство знати. Принцип господства исконен, как само общество, он положен в основу всякой социальной организации. Синтез этих двух положений по существу исчерпывает философию истории адептов «современной школы».

Очевидно, что оба эти положения историографически заимствованы из арсенала допцианства. Вместе с тем нет сомнения, что особое ударение на извечности строя господства и подчинения было «навешено» приверженцам современной школы той ролью, которая отводилась «элите» в «философии истории» нацизма. В теоретической форме эти методологические посылки отчетливее всего изложил историк права Г. Миттайс. В докладе «История права и проблема исторической преемственности» (1947 г.) Мит-

тайс утверждал, что однажды отлившиеся формы правосознания сохраняются в своем своеобразии, вопреки меняющейся исторической среде,— идея столь же метафизическая, сколь и реакционная. Другими словами, по мнению Миттайса, правовые институты переходят из одной общественной формации в другую неизменными в своем существе. Их самостоятельное бытие и придает истории непрерывность. Там, где до сих пор усматривали, продолжает он, лишь перерыв и начало нового, там теперь находят прежние элементы, которые, вопреки всем переменам, остаются неизменными в сущности.

Благодаря этому мы везде обнаруживаем «примыкание» последующей эпохи к предшествующей. Такое представление, по мнению Миттайса, прежде всего создается при исследовании перехода от античности к средним векам. Концепция катастрофы создалась в результате того, что со средневековым сопоставлялась «римская цивилизация» классической поры, а не римская культура IV—V вв. Поскольку одна эпоха передает другой только то, что последняя способна воспринять, то древние германцы были «прекрасно подготовлены» к восприятию основных институтов позднеримской цивилизации. И как вывод Миттайс утверждает: история — результат органического роста внутри конкретной общности. Аналогичную концепцию развивает историк из ФРГ Г. Обен¹³.

Разумеется, без преемственности нет истории, и жизнь народов никогда не начинается с «начала». Взаимодействие цивилизаций различных народов — одна из предпосылок исторического развития каждого из них. Однако в области социально-правовых и политических отношений должно строго отличать стадиальные различия в развитии взаимодействующих народов.

Отсюда следует, что историческое развитие не прямолинейно, а совершается по спирали (с «возвращениями» на более высокой ступени).

Но самое важное заключается в том, что принцип отбора устанавливает не «передающий», как утверждает Миттайс, а «воспринимающий». Следовательно, если исходить при анализе перехода от античности к средним векам из взглядов Миттайса, «отбор унаследованного» производили варварские племена.

Вообще сама возможность качественного скачка в истории определяется прежде всего образованием новых

сущностей (социальных реальностей) в функционирующем обществе.

Второе из указанных исходных методологических положений «современной школы» сформулировано в статье Миттайса «Формы господства знати в средние века». Вопреки хронологическим рамкам заглавия, «господство знати» разворачивается в этой статье в качестве исконной универсально-исторической категории (этот принцип общественной организации не знает, по мнению Миттайса, ни временных, ни локальных ограничений). Едва ли, утверждает он, найдется «культурный круг», в котором привилегированная элита не оказывала бы определяющего влияния на общественный строй. Господство знати легко обнаружить во все времена и у всех народов.

Это объясняет, почему знать рассматривается в сравнительной социологии в качестве идеального типа, господства вообще. Используя одну из ведущих идей социологии М. Вебера — о тесной связи отношений господства и подчинения с религиозным представлением о «святости» и «благодати», — Миттайс рисует неизменную в своей сущности «знать», господство которой переходит из одной исторической эпохи в другую как ведущее творческое начало общественного развития начиная «с его туманной зари». Обвиняя либерально-буржуазную историографию середины XIX в. в безудержной модернизации прошлого, adeпты «современной школы» не замечают «бревна в собственном глазу», т. е. что их собственные построения представляют еще более вопиющий образец «опрокидывания» недавнего прошлого в далекое прошлое — конструирования прошлого по образцу и подобию идеологии «третьего рейха».

Теоретическая разработка проблемы «господства знати» является ярким образцом такой модернизации прошлого. Роль знати в общественном строе рисуется Миттайсу олицетворением «глубочайших тайников народного духа». Миттайс подчеркивает, что в описании общественного строя древних германцев Тацитом «господство знати» раскрывается как его ведущий принцип. Равенство членов племени носит чисто формальный характер, а решающая роль знати носит характер реальный. В руках князей (так Миттайс переводит термин *principes*, обозначающий, собственно, старейшин) — власть приказывать и принуждать, созывать народное собрание и формировать

его решения, отправление правосудия и культа (князя — первые жрецы). Совет князей-фюрстов — стержень общественного устройства древних германцев. Дружина на службе у князей — могущественный инструмент господства древнегерманской знати. Верность дружинника своему предводителю — конституирующий элемент всей средневековой цивилизации.

Варварские завоевания и образование варварских королевств — результат того же господства знати. «Творческой силой» в этот период выступают военные предводители и их военные дружины. Они не только олицетворяли те или иные племена, к ним последние сводились. Не удивительно, что установившееся в варварских королевствах господство знати выступает в изображении Миттайса как воссоздание древнего принципа в новых условиях, точнее — как продолжение «прежних» порядков. Знать получила львиную долю земель во вновь образовавшихся королевствах и тем самым превратилась в землевладельческую знать.

Миттайс не согласен с Г. Бруннером, по мнению которого родовая знать, например у франков, была перебита Хлодвигом и его преемниками, создавшими вместо нее новую служилую знать, пеструю по своему происхождению (нередко и рабского). Согласно этой точке зрения, Меровинги стремились превратить весь «народ» в подданных, и потому он должен был состоять лишь из одних «простых свободных». Над ними могли возвышаться лишь привилегированные из-за своей близости к королю «функционеры», его министериалы и порученцы, но не родовая (т. е. независимая от королевской воли) знать; ниже свободных должны были находиться только бесправные сервы.

Миттайс пишет: «Теперь все больше утверждаются во мнении, что племенная свобода — не что иное, как современная юридическая конструкция, лишенная исторического содержания, абстрактная схема, в которую не укладываются реальные факты». По его мнению, служилое дворянство Меровингов было лишь новым обозначением потомков древнегерманской (в частности древнефранкской) родовой знати. Следовательно, им не удалось лишить родовую знать функций управления. Тем самым утверждается не только полная преемственность принципа господства знати, но и самой знати. Древний культ

знатных родов наряду с культом короля продолжается и под покровом христианства (многие их представители причисляются к лику святых), их причастность к культу трансформируется в институт частных церквей. Не удивительно, что в господстве знати Миттайс увидел ярчайшую иллюстрацию «феномена исторической преемственности».

Перед нами образец удивительно догматического и метафизического мышления. Преемственность терминов истолковывается как преемственность институтов. История приносится в жертву пресловутой имманентной и метафизической идее, якобы заложенной искони в общественной организации и неизменном термине. Таким путем создается возможность смешения понятий, состояний и эпох.

Если следовать Миттайсу, то во всей истории человечества, предшествующей XIX в., не было эпохи, которая не знала бы в качестве определяющего фактора господства знати. С такой точки зрения одна эпоха отличается от другой лишь смелой политической формы этого господства, но не по существу. Реакционный, антиисторический характер данной концепции не подлежит сомнению. Психологические реминисценции, эти рудименты отживших эпох, превращаются в животворный фактор истории, в ее движущий принцип.

Под влиянием концепции Миттайса, несомненно, находится другой автор теоретической постановки проблемы знати в истории европейского средневековья — Ф. де Батталья. Исходя только из внешнего сходства ряда черт социальной структуры в различных странах в различные периоды, Батталья делает совершенно неоправданные выводы об идентичности содержания подобных феноменов. Правящий класс — элита — «прослеживается» в глубь веков, вплоть до доисторических времен. Этот класс может основывать господство только на принципе знатности, который, в свою очередь, зиждется на иррациональных убеждениях в божественном происхождении этого порядка, как и самой знати. Эксплуатируя эти убеждения, знать требует для себя монополии политической и экономической власти. С целью удержания монополии в своих руках она конституируется в касту. Феодализм христианского мира — одно из проявлений извечного порядка. Германцы принесли его на территорию Римской империи, где

он уже во времена Цезаря находился в упадке. Патрицианская идеология древнего Рима снова ожила с варварскими завоеваниями. Германцы знали к тому времени господствующий класс в своей собственной среде, это облегчило интеграцию двух обществ — варварского и древнеримского.

Если даже отвлечься от факта смешения родовой знати и знати как господствующего класса в классовом обществе, то очевидно, что в изложенной концепции родовая идеология превращается в ключ для раскрытия оснований господства знати во все эпохи. Социально-экономические основания этого господства полностью игнорируются. Также очевидно, что для истолкования варварских завоеваний как формы социального переустройства общества здесь места не остается.

Против концепции, усматривающей истоки средневековой знати в процессе постепенной социальной дифференциации в варварском обществе выступает и К. Босл. Для объяснения происхождения этого класса ему даже не потребовалась ссылка на мистические формы первобытного сознания. Корни его Босл усмотрел в ином: они, по его мнению, заключаются в «естественных и духовных различиях между людьми». Естественное неравенство порождает социальную дифференциацию. И если очевидно, что первое исконно, то исконным следует признать и второе — просто и ясно! Аристократия, продолжает Босл, на протяжении всей истории «культурных народов» выступала в качестве инициатора и источника (!) политического и духовного развития. Господство знати, культура знати, этика знати — решающий феномен исторического развития, это наднациональный и интегрирующий фактор европейской истории. Создается впечатление, что Босл не исследует, а сочиняет гимн средневековой знати. Она, подчеркивает Босл, стоит у истоков государственного развития, ее господство сохраняется наряду с королевской властью и вопреки ей.

В раскрытии государственного строя средневековья как строя господства знати Босл усматривает большой прогресс в медиэвистике. Понятие «господство» оказывается в глазах его «вернейшим ключом» к проблеме преемственности цивилизаций, иными словами, господство — изначальный стержень всякой цивилизации. Что же удивительного в том, что приверженцы этой концепции не

знают догосударственного общинно-родового строя и племенной демократии. Всякий строй мыслится ими прежде всего как строй классовый, государственный. Так, Босл считает племенной строй, описанный в «Германии» Тацита, первой формой «государства», основанного на господстве знати. Образующими его началами являются: власть патримониальная, поземельная, судебная. Все это вместе взятое — только проявления одного и того же факта «господства знати». Военные предводители после поселения германских племен на территории Римской империи «воспроизвели здесь свое положение в виде крупного вотчинного землевладения, им досталась львиная доля захваченной добычи, под их рукой оказалось много крепостных и многочисленные военные дружины». Они, по мнению Босла, составили господствующий, правящий (и, что самое важное, наследственный) класс варварских королевств. Таким образом, концепция Босла — не что иное, как переложение «на собственный язык» концепции Миттайса.

Итак, при всех различиях в обрисовке деталей каждым из разделяющих эту концепцию историков (например, Данненбауэр считает знать древнегерманских племен знатью в юридическом смысле слова, т. е. сословием замкнутым, наследственным; Шлезингер же полагает, что знать складывалась постепенно, оставаясь долгое время открытой для свободных, проявивших доблесть на войне. Точно так же он не считает право создавать дружину монополией «князей»: каждый свободный германец был правомочен создать дружину) перед нами одна школа, одно направление. Для него характерна не только одинаковая методология, но и та же самая методика.

Сущность последней заключается в следующем. Для решения того или иного вопроса привлекаются отнюдь не все имеющиеся источники, а лишь некоторые, причем наиболее случайные, неясные, допускающие различные толкования. Так, «современная школа» почти полностью игнорирует варварские правды, предпочитая от Цезаря и Тацита прямо переходить к формулам и капитуляриям раннефеодальной поры. Принцип этот столь же прост, сколь и удобен: все, что противоречит предвзятой концепции, — не замечать, все, что может быть истолковано вкривь и вкось, — привлекать. «Избирательность» источниковедческой базы, выхваченный характер привлекаемых

сведений, их хронологическая и локальная разнородность и, самое важное, отождествление совершенно разновременных и разнокачественных явлений только на основе кажущейся этимологической близости терминологии — все это создает благодатную почву для подтверждения априорных положений, сводящихся к фальсификации истории. В итоге нанизываются ряды фактов, столь же разрозненных, сколь и случайных, и все — в угоду предвзятому тезису.

Однако адептов этой школы данное обстоятельство мало волнует, так как факту вообще не придается характера доказательства. В лучшем случае так называемый факт призван играть иллюстративную роль. Такого рода факты лишь вкрапливаются в изложение, а не составляют его основу. Они малочисленны не только потому, что их мало сохранилось, а потому, что они заранее отобраны. Этот антинаучный, фрагментарный метод работы с источниками возмущает многих историков, привыкших к элементарной добросовестности. Так, уже упоминавшийся Вернер вынужден был перед лицом подобной методики снова провозгласить в качестве категорического императива следующий принцип: «Только после того, как показания «остатков», сохранившихся от какой-либо эпохи, систематически и статистически (с точки зрения частоты во времени и в пространстве) взвешены, их показания могут быть правильно интерпретированы. Далеко идущие выводы, основанные на многочисленных, случайно выхваченных примерах, — наукообразная фикция». Вернер, естественно, не назвал тех, кому адресовано это наставление, однако они и так ясны.

Итак, концепция знати в интерпретации «современной школы» снимает всю проблему социального расслоения варварского общества, так как результат длительного процесса — возникновение средневековой феодальной знати — провозглашается изначальным фактом. Отождествляя понятие знатности с понятием «полноправия» даже в отношении древнегерманского общества, «современная школа» тем самым снимает проблему перехода от древности к средневековью, проблему качественного скачка в историческом развитии народов, в частности германских. Поскольку полноправие изображается историками «современной школы» искони присущим только знати, постольку носителем «германских начал» во Франк-

ском государстве объявляется не масса простых свободных, а франкская знать. Наконец, изображая весь социально-политический строй средневековья вплоть до XII в. преемственным, «современная» школа по существу зачеркивает проблему обусловленности перемен в строе общества внутренними факторами функционирующего общества.

Общество лишается движения, история как наука — смысла.

Отражая борьбу современных идейно-политических течений в буржуазной социологии и политике, дискуссия по проблеме знати затрагивает не только прошлое западноевропейского общества, но и проблемы, волнующие его в наши дни. Проблемы государства и власти вообще, структуры власти и классовой структуры, т. е. проблемы сугубо злободневные, переносятся в далекое прошлое в сущности для того, чтобы их лучше рассмотреть в исторической ретроспекции.

Ведущей тенденцией современной буржуазной историографии является ярко выраженный этатизм, т. е. концепция, абсолютизирующая государство как нечто самодовлеющее, всесильное и независимое. Оно творит свою волю по отношению к управляемым, которая ими даже не воспринимается как гнет, ибо она стождествляется с «благом». Знать не принадлежит к управляемым, она разделяет с государством задачи управления, точнее, она — носитель самого принципа господства. Государство — это господство знати. Принцип господства знати столь же изначален, как и само государство. Король — знать — церковь — таковы истинные пружины средневековой истории. Называя себя «современной», указанная школа вряд ли сама осознает, насколько ее позиции близки к концепции знати, проповедовавшейся еще в начале... XVIII в. графом Буленвилле.

Кризис феодализма в XVIII в. и всеобщий кризис капитализма в середине XX в. породили исторические концепции, родственные по направленности, духу и конечным целям.

2. ПРОБЛЕМА КРЕСТЬЯНСКОЙ СВОБОДЫ В СРЕДНИЕ ВЕКА

Проблема происхождения и характера более или менее свободных форм крестьянского землепользования, обнаруженных в различных странах Западной Европы в XII—XIII вв., в течение полувека дважды привлекала внимание историков: впервые в конце прошлого — начале нашего века, и вторично — в 40-х — 50-х годах¹⁴. Однако полемика в обоих случаях была обусловлена столь же различными предпосылками, сколь различными были ее целенаправленность и научные результаты. Обе дискуссии объединяет, по крайней мере, внешне, лишь то, что в обоих случаях колыбелью «критического направления» оказывалась немецкая буржуазная медиевистика.

Основные вопросы, привлекавшие к себе внимание медиевистов на рубеже XIX—XX вв., таковы: 1. Какое место в структуре общества раннего средневековья принадлежало свободному общиннику-земледельцу? 2. Исчезли ли свободные крестьяне каролингской эпохи к XI в. вследствие постепенного слияния их с несвободными разрядами населения имунитетных территорий, происходившего под влиянием нивелирующего воздействия вотчинного права и администрации?

Надо сказать, что вопросы эти — кардинальной важности и до конца еще не выяснены и поныне. Дело в том, что тезис о всеобщем низведении свободных общинников — мелких аллодистов раннекаролингской эпохи — в разряд несвободных «подданных вотчины», чей статус регулировался дворовым уставом (Hofrecht), был одним из тех очевидных упрощений вотчинной теории, которые в немалой степени обусловили появление «критического направления» в западноевропейской медиевистике. В частности, перед «критиками» возник и другой вопрос: как объяснить наличие значительных прослоек лично свободных мелких держателей в различных районах Западной Европы в XII—XIII вв.?

Как известно, в немецкой историографии конца XIX — начала XX в. «критическое направление» было представлено, с одной стороны, Виттихом, Гутманом и др., а с другой — Беловым, Каро и Зеллигером. И те и другие, по сути дела, ополчились, хотя и с различных позиций, против тезиса, «классической вотчинной теории» (Инама —

Штернегг, Лампрехт) о коренном изменении социально-экономической структуры западноевропейского общества в VIII—IX вв., обусловленном повсеместным торжеством феодальной вотчины над общиной-маркой и превращением массы простых свободных земледельцев в сервов, «подданных» вотчины. Стремясь опровергнуть этот тезис, Виттих и Гутман предприняли пересмотр классических представлений о социальной структуре ранне-средневекового общества. В их изображении основными структурными элементами древнегерманского общества изначально являлись мелкие вотчинники и зависимые от них земледельцы. Но если свободные земледельцы неизвестны были германским племенам даже во времена Тацита, то очевидно, что вся проблема их исчезновения в эпоху Каролингов оказывалась несуществующей. Таким образом, социальная история Западной Европы в VI—VII вв. этими историками была действительно поставлена на голую.

Другое направление «критиков» (Белов, Каро и Зеллигер)¹⁵ также выступило против тезиса о катастрофе, постигшей свободных земледельцев-общинников в VIII—IX вв. Вместе с тем оно вступило в полемику и с создателями «новой вотчинной теории» — Виттихом, Гутманом и др., вообще отрицавшими, как мы видели, наличие такого слоя в социальной структуре древнегерманского и варварского общества.

Это «направление критики» признавало наличие массы свободных земледельцев в структуре варварского общества. Более того, Зеллигер и в особенности Каро стремились доказать, что возникновение вотчины в Западной Европе происходило не за счет свободного крестьянского землевладения и, следовательно, не приводило к исчезновению свободного крестьянства. Иными словами, свободные земледельцы, основной конституирующий элемент варварских обществ, сохранили в значительной мере свой статус в последующую эпоху.

Опираясь на работы обеих ветвей «критического направления», А. Допш утверждал, что свобода и несвобода — состояния, не сменяющие друг друга в истории средневекового общества, а изначально сосуществующие. Если и имела место «депрессия свободных» в каролингскую эпоху, то их убыль, по его мнению, с лихвой восполнялась «обратным процессом», освобождением многих

несвободных элементов. Допш полностью игнорировал качественные различия между «крестьянской свободой» различных периодов средневековья. К тому же ведущим, как известно, был процесс принижения свободных, а вовсе не процесс возвышения рабов. Наконец, «возвышение» рабов приводило к «свободе», качественно отличной от свободы полноправных общинников-земледельцев.

Построения Виттиха, Гутмана и их сторонников не получили широкого признания в буржуазной историографии и остались памятником небезызвестной страсбургской школы в средневековедении.

В свою очередь, Каро, Зелигеру, Белову не удалось сколько-нибудь убедительно доказать сохранение действительно обширного слоя свободных аллодистов в X—XI вв. (за исключением ряда районов, где сложились специфические, хозяйственные, социально-политические условия, к примеру, в Швейцарии, Фрисландии, восточных графствах Англии и др.). Из работ этих историков, однако, явствовало, что вотчинный строй не был настолько «систематизированным» и повсеместно господствующим как по форме, так и по существу, чтобы можно было без серьезных оговорок принять тезис об извечности вотчины и полном исчезновении личной (в некоторых случаях и поземельной) свободы в Западной Европе X—XI вв. Наконец только недавно было установлено, что широкое распространение в различных районах Западной Европы (в XII—XIII вв.) «свободных» форм крестьянского держания носило в значительной мере вторичный характер, т. е. свидетельствовало о процессе «возрождения» крестьянской свободы, но уже на иных, качественно отличных предпосылках свободы — на феодальной основе. На этих позициях буржуазная наука в основном оставалась вплоть до 30-х годов нашего века.

Приход фашизма к власти в Германии и его политика насаждения и поощрения гроссбауэров, провозглашенных одним из столпов «третьего рейха», снова пробудили в немецкой средневековедении интерес к проблеме свободного крестьянства в средние века. Несомненно, что «крестьянская политика» фашизма была той политической атмосферой, в которой ожили и расцвели «критические» концепции. Под воздействием этого же политического стимула сложилось и «новое учение» о характере и происхождении «крестьянской свободы» в раннее средневе-

ковье. Подлинно новым в этой концепции оказалась лишь фетишизация роли государства вообще и всяких форм господства в частности в конституировании крестьянской свободы. В сравнительно короткий срок возникла обширная литература, в которой разрабатывались различные аспекты этого «учения».

Итак, предпосылки первой и второй дискуссий по вопросу о крестьянской свободе имеют между собой мало общего: в конце XIX и в начале XX в. шла в первую очередь речь о необходимости уточнения и конкретизации страдавших явным схематизмом положений классической вотчинной теории. Следовательно, этой дискуссии в известной мере требовало развитие самой науки. Во втором же случае предпосылки «нового учения» были по преимуществу идейно-политическими, ибо речь шла о развитии заведомо ложных антиисторических элементов концепций «критического направления» конца XIX и начала XX в. только на том основании, что многие из них оказались созвучными господствующей идеологии.

В чем же существо концепции школы Т. Майера? ¹⁶ Отметим прежде всего, что она лишает самое понятие свободы не только сколько-нибудь определенных логических критериев, но и какого бы то ни было позитивного исторического содержания. Свобода в истолковании этой школы, — не реальное «общественное отношение», не «положение индивидуума в обществе», а полностью лишенное реального содержания «функциональное» представление (соответственно господствующему в данное время критерию), что есть свобода.

Поскольку речь идет о раннем средневековье представление о «свободе» сводится к «функции» ее субъекта не в общественном производстве, а в «государстве». Это нечто производное от меры и формы его соприкосновения с «государством», от той степени, в какой индивид существует непосредственно «для государства». Одна и та же общественная функция индивида может, с указанной точки зрения, означать «свободу» или «несвободу», в зависимости от того, приводит ли она его в непосредственное соприкосновение с «государством» (вознесенным в указанной концепции над обществом в качестве самостоятельного и формирующего общество начала), или отгораживает его от государства и сферы его интересов. Разумеется, что в таком истолковании свободы действитель-

ное общественно-экономическое положение трудящихся, в данном случае земледельцев, не имеет ровно никакого значения для определения их статуса. В результате свобода оказывается понятием настолько относительным, что критерии ее становятся совершенно случайными и произвольными.

Логическим завершением этой концепции явилось построение западногерманского историка Ф. Лютге¹⁷, согласно которому «свобода» вообще является не общественным состоянием индивида, а «общественным мнением», столь же преходящим, как и время, его породившее. Свобода — это то, что люди в ту или иную эпоху «считают свободой» безотносительно к состоянию, в котором действительно пребывают. Отсюда вытекает, что то, что в одну эпоху считается «свободой», в другую может быть расценено как «рабство» и наоборот. Столь же различные мнения о «свободе» в различных общественных слоях даже в одно и то же время. Поэтому, заключает Лютге, вести спор по вопросу о характере свободы в тот или иной период бессмысленно, ибо это в конечном счете вопрос «вкуса», суждения самих современников. Одним словом, категория свободы — это категория исторической психологии, но не социальных отношений, исторической действительности. Очевидно, что несомненный историзм любого понятия, в данном случае категории свободы, использован для того, чтобы перевести анализ с почвы конкретно-исторических условий эпохи на почву лишенных реального содержания абстракций.

Для Т. Майера, как мы видели, понятие свободы столь же относительно, как и для Лютге. Различие лишь в том, что у Майера содержание свободы определяется единственным отношением индивида к государству. Поэтому только что изложенную концепцию правомерно называть концепцией государственно-функциональной свободы. Поскольку же средневековое государство персонафицируется в лице короля, постольку эту свободу именуют королевской, а носителей этой свободы — королевскими свободными.

Реакционность «нового учения» обнаруживается даже при беглом сопоставлении его с буржуазно-либеральной концепцией крестьянской свободы в средние века. Если последняя при всей ее классовой ограниченности все же исходила при определении меры свободы земле-

дельца из объема и характера его рентных повинностей сеньору, из объема его прав на обрабатываемый надел, то «новое учение» (Т. Майера, Г. Данненбауэра, В. Шлезингера, К. Босла и др.) избрало в качестве критерия крестьянской свободы политическую фикцию. Фикцию потому, что речь идет не о действительных правах земледельца, а о правах государства по отношению к плодам его труда. Другими словами, о том, кто является субъектом этих прав — частное лицо или агент публичной власти. При прочих равных условиях в первом случае земледелец несвободен.

Таким образом, действительным субъектом «королевской свободы» оказывается вовсе не земледелец. Он ее объект, если находится в «зоне королевского права». Поскольку крестьянская свобода сознается «новой школой» лишь в качестве творения государства, поскольку эта свобода олицетворяет лишь непосредственное подданство королю, постольку потеря свободы мыслима лишь в результате перехода власти над «свободными» в руки частного господина. Вне государственного отношения свободы для земледельца не существует — так сторонники «нового учения» перепевают на новый лад тезис «новой вотчинной теории» конца XIX в. Превращение государства из «гаранта» свободы в ее «создателя» — такова ведущая черта «нового учения» о средневековой крестьянской свободе. Эта «свобода» лишена позитивного смысла, так как она безотносительна к характеру прав и обязанностей (т. е. социальных отношений) трудящихся индивидов. «Свобода, которую государство обеспечивает [кому-либо], — пишет Майер, — таким образом, ни в коем случае не означает освобождения от всех обязательств частного, не непосредственно государственного характера, равно как и не говорит ничего об объеме обязательств, которые в отношении государства могут быть большими, нежели в отношении частных лиц». Эта «свобода» приобретает поистине мистическое значение причастности к некоему высшему «правственному началу».

Такое определение «свободы» школой Т. Майера логически вытекает из ее представлений о социальной структуре общества раннего средневековья, и в частности варварских королевств. Поскольку, согласно анализируемой концепции, это общество унаследовало по существу лишь одно-единственное вотчинное отношение, отношение лич-

ного господства и подчинения, постольку для него характерно «двучленное деление» — с одной стороны, на вотчинников, и с другой — на несвободных, зависимых от них разрядов населения (колоны, сервы, литы).

Таким образом, как и в концепции Виттиха, слой простых свободных полностью отсутствует и в концепции приверженцев «нового учения». По их мнению, простые свободные, неоднократно упоминающиеся в капитуляриях Карла Великого, иного происхождения и природы, чем это рисовалось создателям классической теории XIX в. Они появляются только в ходе «освоения» военными предводителями — королями варваров — вновь завоеванных, некогда римских территорий. Иными словами, они возникают вместе с варварскими государствами в качестве элемента, привнесенного в изначальную общественную структуру германских племен, как фактор, внешний по отношению к ней. Поскольку свобода, создаваемая королевской властью лишь функциональная свобода, т. е. свобода, не имеющая никакого отношения к действительному социальному статусу индивидуума, постольку она ничего и не меняет в этом статусе.

Отсюда определение: свободный — значит сохранивший непосредственное подчинение королю. Во всех же других отношениях эта свобода может ничем не отличаться от условий, которые в других случаях являются критерием несвободы. Путь к «королевской свободе» лежит для земледельца через королевское войско. В период варварских завоеваний войско короля с публичноправовой точки зрения и составляет «народ», конституирующийся после завоеваний в государство. Такие *exercitales* — воины, т. е. «королевские свободные», сплошь и рядом даже не принадлежат к данному племени, не говоря уже о том, что они могли иметь самый различный юридический статус, вплоть до рабского.

Многие из них — вообще чужаки (допущение очень заманчивое с точки зрения данной концепции), приставшие к передвигавшемуся племени и помещенные затем на королевских доменах, на границах, стратегических защитных линиях, на новоколонизованной королем земле. Позднее к ним присоединяются и другие пришельцы, поселенные на таких же условиях. Все они «слыгут свободными» (не являясь ими в действительности) только в том смысле, что они рассматривались в качестве ко-

ролевских подданных, обязанных королю военной службой и другими повинностями; их хозяйственное положение мало благоприятно, они земледельцы лишь в свободное от военных походов время, их повинности (в совокупности) нередко даже более тягостны, чем повинности частнозависимых земледельцев. Будучи отчужденными (королевскими актами) в частные руки, такие «свободные» по своему положению почти не отличались от «изначально зависимых» категорий населения вотчины. Недаром Т. Майер, говоря об этих свободных, употребляет выражение: «считаются свободными». Не удивительно, продолжает он, что эту «свободу» правомернее считать «свободной несвободой» или «несвободной свободой».

Таковой предстанет перед нами новая концепция «крестьянской свободы» раннего средневековья, «свободы», привнесенной королевской властью во имя собственных целей в структуру общества, а не присущей этой структуре. Именно поэтому базисом «королевской свободы» является принадлежность не к племени, а к королевскому войску в сочетании с позднейшим поселением в качестве колонистов на королевской земле, чем обеспечивается правовая обособленность последних в качестве «свободных», т. е. непосредственно королю подчиненных, крестьян. Т. Майер и его единомышленники неоднократно подчеркивают, что это — не свободные в смысле старосвободных «прежней» концепции, т. е. полноправных, их «свобода» — особая, создаваемая отношением государственного подданства. Позднее аналогичное правовое положение получили пришельцы, поселенные на новоколонизованной (королевской) земле и обязанные являться в королевское ополчение.

Свою концепцию Майер подкрепляет разрозненными «примерами» из истории западноевропейского средневековья. Приведем в качестве иллюстрации его рассуждения о франках. Франк — не племенное обозначение, а сословно-юридическая характеристика. Поэтому *franci* всегда правомерно переводить как «свободные». Франки — «общность людей», под королевским началом составляющих войско короля и поэтому возвысившихся над другими людьми в качестве свободных. Свободными же они слыли потому, что находились в непосредственном подчинении у короля, предводителя войска. Франки были с течением времени расселены королем по всей империи и

повсюду они юридически возвышались над местным населением и наделены были королевской землей. Эти франки (в смысле *gemeinfreie*) представляли противоположность более поздней франкской знати (*potentes, optimates*), сформировавшейся из рядов крупных землевладельцев. Франки — королевское войско на войне и королевские поселенцы в мирное время, находящиеся под управлением графов, плательщики налогов королю и подсудные королевскому суду. Несвободные по фактическому, т. е. социально-экономическому, положению, они свободны в публично-правовом смысле, их свобода — производное от выполняемых ими государственных функций. Не все «королевские свободные» сохранили свою свободу. Оказавшись в силу отчуждения королевских земель в частных руках, они, даже при условии, что их фактическое положение осталось прежним, уже не считались свободными, так как потеряли непосредственный контакт с агентами короля и вошли в сферу частного права вотчинников. Следовательно, исчезновение и возникновение простых свободных являлось в одинаковой мере результатом королевской политики.

В этой концепции все поставлено на голову. Исходным пунктом средневекового развития оказывается не племенной союз старосвободных, а разноплеменное военное сотоварищество, включавшее нередко рабов, под началом короля; не полноправные участники раздела земли (по мере продвижения в Галлию), а поселенцы на королевской земле. Их подвластность королю — предпосылка свободы, их повинности королю — ее проявление. «Немыслимо, — подчеркивает Майер, — чтобы король господствовал над старосвободными, чья свобода не была бы функцией от их непосредственного подчинения королю». Над франками король осуществляет частную власть, проявляющуюся в праве их отчуждения в другие руки. Старосвободные же, которые мыслятся приверженцами «нового учения» только в качестве вотчинников, — не подданные короля, а его вассалы.

Итак, решающим фактором процесса «зарождения и исчезновения» средневековой крестьянской свободы оказывается король — военный предводитель. Он создатель войска, войско, испомещенное королем на землю, составляет «народ», народ конституируется в государство, но это не племенное королевство, а, по терминологии Майе-

ра, «войсковое» (*Heerkönigtum*). Там, где королевская власть остается сильной, обширен слой «королевских свободных», т. е. обширен слой тех, наделенных землей воинов, которых король оставляет за собой, они основные носители королевских повинностей. Они коренным образом отличаются от так называемых «старосвободных», обладавших свободой еще в те времена, когда не было речи о королевской власти.

Но напрасно думать, что в этом случае речь идет о совокупности членов племени, способных носить оружие. Майер и его единомышленники под «старосвободными» понимают племенную аристократию. «Она не получила свободу от государства, а принесла ее с собой». «Старосвободные стали в новых условиях привилегированными свободными». Не удивительно, что «старосвободные», т. е. вотчинники, рисуются крайне немногочисленным слоем уже в момент варварских завоеваний. С ослаблением королевской власти этот слой политически конституировался в качестве дворянства, захватившего в X—XI вв. политическую и хозяйственную власть в стране, что и означало распад государства. Этим «старосвободным», собственно, изначальному классу вотчинников в VI—IX вв. противостояли те «королевские свободные», «свободные крестьяне», которые являлись «творением государства», «его основанием» и «важнейшим орудием». Они составляли широкую массу населения, не подчинившегося частной власти вотчинников. Это и есть *liberi, ingenui, bagildi* каролингских источников. Исторические судьбы государства раннего средневековья коренятся в исторических судьбах «королевских свободных». Процесс коммодации, раздаривание королевских доменов, рост частной власти с течением времени резко сократили численность «королевских свободных» и тем самым подорвали королевскую власть.

Следует подчеркнуть, что в самой западногерманской историографии по вопросу о крестьянской свободе существуют не только оттенки мнений, но и значительные разногласия. Так, К. Бадер¹⁸ считает свободу крестьян раннего средневековья «изначальной», она не создана никем, а сама создала общество и государство. Историки же, сосредоточившие свое внимание на происхождении «свободных крестьян» XII—XIII вв. (К. Веллер), считают это явление чем-то принципиально новым по сравнению

со «свободой» предшествующего периода. Тем самым они фактически отвергают то истолкование происхождения свободы в раннее средневековье, которое предложили создатели «нового учения». Иными словами, эти историки непрочь воспользоваться некоторыми идеями Т. Майера, чтобы объяснить характер «свободных форм» держаний крестьянского типа, возникших и умножившихся в XII—XIII вв. Основной упор делается при этом на роль «внутренней колонизации». «Свободные крестьяне» того времени, по мнению названных историков, — это в первую очередь поселенцы на расчищенных, прежде всего королевских, землях. «Королевские свободные» того периода — это крестьяне-колонисты (Rodungsbauern). Вслед за королями аналогичный статус предоставляли такого рода крестьянам и монастыри, и светские территориальные князья.

Возникновение обширного слоя свободных крестьян относится этими историками ко времени Штауфенов. Следовательно, свободные крестьяне XII—XIII столетий были в массе своей недавнего происхождения. В гораздо большей степени, пишет Веллер, «эта свобода — новообразование эпохи Штауфенов..., свободные поселяются на собственно коронном домене, подобно городам, основанным Штауфенами». Фридриха I следует рассматривать в качестве зачинателя поселения свободных крестьян в Швабии. Фридрих II (Штауфен) продолжил его дело. Эта свобода служила формой поощрения и привлечения новых поселенцев.

Бадеру и его единомышленникам возражает Майер. Он упрекает их в том, что они не задались вопросом: не существовали ли подобные же отношения, как и предпосылки для них, уже задолго до этого? Особенно возмущается он тем, что сторонники концепции «позднего происхождения» (в XII в.) свободных крестьян склонны без оговорок считать свободных, встречающихся в раннее средневековье, не только старосвободными, но и простыми свободными собственными, т. е. племенного, права. Майер упрекает их в том, что они не поставили проблему крестьянской свободы в связь с процессом возникновения государства и эволюцией государственного строя. Иными словами, Майер хотел бы интерпретировать практику королевской власти XII—XIII вв. как простое продолжение практики ее в раннее средневековье, а «но-

вую крестьянскую свободу» XII—XIII вв. — в качестве «возрождения в новых условиях» изначального института королевских свободных франкской эпохи.

Ссылками на Допша Майер стремится доказать, что королевские свободные каролингского времени в X в. полностью нигде не исчезли, ибо имело место движение земледельцев не только по «нисходящей», но и по «восходящей» линии, так как многие несвободные благодаря королевской власти переходили в ряды свободных. На этом основании он настаивает на непрерывности и единообразии процесса возникновения крестьянской свободы на всем протяжении раннего и классического средневековья. Новоколонизованная «королевская» земля и «свободные» колонисты в XII—XIII вв. олицетворяют в глазах Майера эту непрерывность. Но тем самым Майеру пришлось модифицировать свою первоначальную концепцию, допустив наряду с первым по времени источником свободы — королевским воином второй ее источник — внутреннюю колонизацию.

Наконец, множество убедительных фактов, почерпнутых из истории ряда швейцарских кантонов, Бургундии, Тироля, Верхней Австрии, Баварии, Верхнего Рейна, привели Майера к еще большей непоследовательности, окончательно разрушившей даже видимость цельности концепции «королевской свободы». В одной из своих последних работ он утверждает: «Новые исследования обнаружили, что имелись два резко отличных друг от друга слоя свободных: старосвободные, обладавшие этим статусом по собственному праву..., их предки принадлежали к полноправным членам племени; рядом с ними, однако, имеются другие свободные, которым эта свобода была когда-то дарована королем и которые за это были обязаны ему специальными повинностями».

Итак, приверженцы «нового учения», возродившие и усугубившие наиболее реакционные идеи концепции Виттиха, Гутмана и других историков «страсбургской школы», должны были под нажимом неопровержимых фактов допустить непоследовательность, ставящую под сомнение все их построения.

Майер делает оговорку, что лишь немногие старосвободные «народного права» перешли в ряды «свободных крестьян» раннего средневековья. «В общем, — подчеркивает он, — старосвободные перешли в дворянство». Содерж-

жание «нового учения» хорошо подытожил один из его приверженцев — К. Босл. Средние века знали свободу лишь в одном смысле — в смысле дворянской свободы. В XII в. только представителей высшей знати источники квалифицируют в качестве свободных (*liberi*). *Libertas* есть обозначение сословной принадлежности, привилегированного положения. Полноправие мыслится как право на господствующее положение.

Эта свобода для своей реализации требует соответствующего материального субстрата — крупного владения, к которому в качестве «принадлежностей» причислялись право бана, юрисдикции, сюзеренитета, церковный патронат.

В отличие от этой дворянской сословной свободы вотчинников «свобода низших слоев» в раннее средневековье не обозначала ни сословия, ни класса, ни даже племенной принадлежности, не была, одним словом, структурным элементом общества, а составляла основание королевской власти. Социально эту свободу нельзя было обнаружить; лишь в публичном праве она проявлялась как подданство королю. Это не было состояние, принадлежавшее его носителям, а состояние, по воле случая на них распространившееся, которое легко можно было потерять вслед за превращением функции в отношении государства в функцию в отношении частного лица. Капитулярии именуют их *liberi* только в качестве носителей функции воителей и возделывателей королевского домена. Прекращение этой функции в связи с возникновением дворянского вассалитета способствовало обратному движению королевских свободных по направлению к серважу. От статуса манципиев королевская свобода отличается тем, что ее носители военноспособны и военнообязаны, во всем остальном они неразличимы. Но если только положение непосредственной зависимости от короля возвышало их над остальными несвободными, то король — истинный творец этой свободы. Очевидно, что творил он ее только в собственных интересах. Перевес королевской власти над знатью во Франкском государстве основывался на классе королевских свободных. Капитулярии — это государственная программа (прежде всего Карла Великого), согласно которой королевские свободные должны были служить основой для создания «союза подданных» в противовес вассалитету.

Итак, поскольку знать — извечный структурный элемент германского общества, то и свобода ее независима от королевской власти. С другой стороны, поскольку трудящиеся-земледельцы никогда свободными у германских племен не были, относительно них речь может идти лишь о возникновении свободы. Сущность ее — состояние такой же зависимости от короля, в какой несвободные находились в зависимости от частных господ. Бессодержательность этой «свободы» только подчеркивает всю меру бесправия земледельцев, находившихся вне функциональной связи с военной организацией короля. И как вывод из этой концепции: без активной роли королевской власти низшим слоям народа не удалось бы выйти на дорогу свободы¹⁹.

В тесной связи с этой концепцией свободы находится и трактовка «новой школой» вопроса о происхождении сельской общины и так называемых сотен (административных подразделений — округов). Сельская община в истолковании этих историков — отнюдь не первичный элемент общественной организации германских племен, а позднее образование, вызванное к жизни различными факторами. С одной стороны, сельские общины складывались под влиянием королевской политики заселения «королевскими свободными» пограничных территорий. С другой стороны, марки распространяются благодаря росту народонаселения и обусловленному этим освоению обширных массивов нови. И в том и в другом случае, утверждают эти историки, перед нами союзы, сложившиеся лишь с целью совместного пользования неподеленной альмендой.

Ганаль в работе, специально посвященной марке, всячески избегает самого термина «община» (*Genossenschaft*), предпочитая ему *Nutzungsverband* («союз для совместного пользования»). Ганаль ставит под сомнение даже существование в древние времена сельских сходов, чьи решения были обязательными для членов «союза». Наконец, он отрицает наличие в марках (до XI в.) каких-либо следов сельского суда. К. Бадер еще до Ганала писал: «Отсутствуют какие-либо данные, которые свидетельствовали бы о существовании общины в раннее средневековье в нашем верхненемецком крае». Другой историк этого направления — И. Бог²⁰ — почти буквально повторяет слова Фюстель де Куланжа, когда именует теорию о древнем происхождении сельской общины «ученой бас-

ней». Однако во всех этих высказываниях поистине нет ни грани нового. Аргументы, приводимые историками «новой школы» против общинной теории, абсолютно ничего не прибавляют к тому, что уже приводили ее многочисленные противники начиная с конца XIX в. Что же касается так называемых *септае*, то «новая школа» не соглашается признать в них организацию территориального самоуправления простых свободных, превратившуюся впоследствии в административное подразделение графства.

Для приверженцев «нового учения» — это учрежденные королевской властью административные округа на территории, заселенной «королевскими свободными».

Таким предстает перед нами «новое учение». Не следует думать, что оно стало общепринятым в современной буржуазной историографии. За четверть века оно так и не сумело вытеснить старую, буржуазно-либеральную концепцию крестьянской свободы в средние века. Немало критиков «нового учения» можно найти и в самой Западной Германии (Бергенгрюэн, Шпрандель и др.).

С наиболее последовательной критикой «нового учения», прежде всего во имя простой научной добросовестности, выступил Ф. Верли. Следуя шаг за шагом за аргументацией Данненбауэра, Верли не только разоблачил произвольность мотивов в отборе источников, но и совершенно непозволительные приемы их анализа и толкования. Данненбауэр во что бы то ни стало стремится доказать, что у древних германцев существовал уже государственный строй и господство предводителей военных дружин. Поэтому ему приходится совершенно превратно толковать, казалось бы, недвумысленные свидетельства Цезаря и Тацита. Так, из сообщений Цезаря, что свевы ничего не делают против своей воли (IV, 1), и Тацита, что «германцам нельзя приказывать», Данненбауэр лишь смог заключить, что речь идет о «слабой дисциплинированности».

В противовес Данненбауэру²¹ Верли заключает: «Мы видим (у древних германцев)... две силы, из взаимодействия которых складывается общественная жизнь. Древнегерманское государство не было ни господством знати, ни чистой демократией. Знать и народ составляли два полюса. Эта глубоко укоренившаяся в германском строе поляриность оставалась неизменной, вопреки всем

изменениям институтов вплоть до позднего средневековья». Разумеется, это заключение само по себе не свободно от серьезных недостатков. Тем не менее для времени Тацита оно неизмеримо ближе к истине, нежели утверждения Данненбауэра.

Верли отмечает, что решение важнейших вопросов принадлежало еще «простым свободным». Поскольку древние германцы «ни публичные, ни частные дела не совершали иначе, как вооруженными» (Germ., 13), очевидно, что «клика вождя» не могла еще силой навязать народному собранию свою волю. Прославление древнегерманских королей и военных предводителей школой Т. Майера уж слишком явно обнаруживает «современные» истоки ее вдохновения. Этой тенденции Верли противопоставляет концепцию пусть ущербного уже, но все же народовластия у древних германцев. Вожди были вынуждены действовать скорее убеждением, нежели приказом. Дружина, следующая за предводителем, не стала еще в его руках орудием угнетения своих соплеменников. В ответ на злорадство Т. Майера по поводу того, что «романтическая мечта о древней демократии германцев, ныне развеяна», Верли заключает: древнегерманский строй не был чистой демократией, тем не менее в нем имелся значительный демократический компонент.

Для историков «новой школы» существует лишь альтернатива: либо лишенная твердого порядка и мало к чему пригодная демократия, либо террористическое господство «вождя». Но тем самым очевидно, что они опровергают воображаемую, а не историческую демократию.

Поскольку Данненбауэр рассматривает строй раннего средневековья как прямое продолжение господства древнегерманской знати, постольку и в этом строе нет места для простых свободных собственного права. Общество раннего средневековья представляется ему с самого начала разделенным на знать и различные разряды зависимых. Верли, напротив, обнаруживает в социальной структуре меровингского общества хотя и сокращающийся, но все еще достаточно обширный слой простых свободных земледельцев, олицетворявший во времена Тацита «народ» в целом.

Из того факта, что свободный, занятый на королевской службе, защищался тройным вергельдом (600 солидов), Т. Майер заключает, что король оказывал решающее

влияние на сословное положение подданного, в результате чего Салическая правда наряду с племенной сословной градацией общества отразила еще особую, королевскую его градацию. В подтверждение этого тезиса Майер ссылается на наличие в Салической правде якобы двух различных по смыслу терминов для обозначения свободы: *ingenuus* и *francus*. Точно так же Данненбауэр рассматривал обозначение *franci homines* как относящееся к определенной категории населения — к военным колонистам, поселившимся за пределами собственно франкских областей. Этим они якобы противопоставлялись местному населению. Однако даже беглый анализ Салической правды убеждает в том, что словоупотребление *francus* (в смысле *ingenuus*) возникло не за пределами Галлии, а на территории франкского поселения благодаря более высокому положению франков по сравнению с покоренными галло-римлянами.

Что касается тройного вергельда, которым защищается жизнь свободного на королевской службе, то речь идет не о какой-то особой королевской сословной шкале вергельдов, а лишь о большей гарантии для лиц, причастных к королевскому двору. Эта подоплека хорошо раскрывается в постановлениях Алеманнской правды, которая защищает тройным вергельдом не только находящегося во дворе герцога, но и едущего к нему и возвращающегося от него (ст. XXIX, XXX). Что же касается терминов *ingenuus* и *francus* в Салической правде, то, как справедливо подчеркивает Верили, это синонимы.

Стремление Майера выдать литов, упоминаемых в Салической правде, за «королевских свободных» не имеет под собой никакого основания. На самом деле те, кого «новая школа» именует «королевскими свободными», были частью простых свободных членов племени, которая оказалась в зависимости от короля-сеньора, также как другие их собратья оказались в зависимости от частных сеньоров. Наряду с сервами и литами в королевских поместьях IX в. числились свободные, которые в публичном отношении приравнивались к свободным аллодистам, хотя наряду с публичными повинностями должны были выплачивать еще чинш за землю, ими обрабатываемую. Верили указывает на три слоя простых свободных во Франкском государстве VIII—IX вв.: 1) сво-

бодные аллодисты; 2) свободные королевские цензуарии; 3) свободные, включенные в вотчину. Если в полиптиках естественнее всего встретить свободных третьей группы, то в публично-правовых источниках предстают прежде всего свободные первой и второй групп.

Из предложенной Верили градации свободных напрашивается один чрезвычайно важный вопрос: каким образом такая огромная масса свободных оказалась подвластной Сен-Жерменскому монастырю? Верили делает ряд допущений: а) гуфы в руках свободных отнюдь не всегда были свободными, хотя и держали их свободные люди. Писцы смешивали эти состояния, назвав гуфы по статусу держателей; б) свободные условно передавали свои гуфы церкви, скрываясь от публичных повинностей. Думается, что следовало бы в этом ряду упомянуть также дарения короля церкви. Поскольку в процессе феодализации король оказывался сеньором той части свободных аллодистов, которая избежала подчинения частным вотчинникам, постольку раздаривание фиска и свелось прежде всего к отчуждению повинностей свободных в частные руки.

Вся надуманность концепции «новой школы» раскрывается полностью при анализе таких памятников, как Сен-Жерменский полиптик (начало IX в.). Как известно, в нем подсчитано 1430 свободных мансов, 191 сервильный манс и 250 литских мансов. Казалось бы, элементарная последовательность требовала от приверженцев «новой школы», чтобы «королевские свободные» были «узнаны» ими в лице литов. Однако, так как это уж чересчур противоречило бы здравому смыслу, был найден выход: в качестве исключения, указывает Майер, королевские свободные могут именоваться *ingenui*, *liberi*, т. е. точно так же, как и представители знати (к которым эти термины исключительно приурочивались на предыдущей стадии анализа *Lex Salica*). Но что же в таком случае остается от всей концепции «королевских свободных», которая обосновывалась прежде всего тем, что термины *liberi*, *ingenui* в источниках раннего средневековья относятся исключительно к представителям знати, составляющей класс вотчинников?

Хотя Верили далек от попытки всестороннего и самостоятельного освещения затрагиваемых им проблем (полевический характер его работ неизбежно накладывает на них такую же печать фрагментарности, какой стра-

дают построения приверженцев «новой школы»), ему, тем не менее, удалось сделать многое, и прежде всего продемонстрировать недостаточность источниковедческой базы «новой школы». На ряде примеров Вернли удалось вскрыть субъективность и произвольность «школы» в толковании источников.

Школа Т. Майера достигла большого совершенства в искусстве «синтезирования» на базе положений а priori, создавая видимость, что эти положения — результат действительного исследования. Между тем их «исследование» сводится лишь к подбору «свидетельств» к полностью надуманным конструкциям, игнорированию одних типов документов, наиболее недвусмысленных, и использованию источников туманных, допускающих различные толкования. Поражает, насколько «естественно» нарушаются элементарные условия объективного исследования: вперемежку приводятся не только тексты, принадлежащие к различным ареалам и к тому же без всякой системы отобранные, но и тексты освещающие совершенно различные стадии социально-исторического процесса. Таким ненаучным путем создаются предпосылки для проецирования в далекое прошлое позднейших явлений и процессов для обрисовки исторического процесса как простого повторения в различных условиях некоего мифического изначального состояния. В результате общественный строй только «переносится» из одного века в другой. В этой методике сказывается вся мера антиисторизма концепций «новой школы».

Так, цитируя первый титул Алеманнской правды: «Знатные элементы совместно с герцогом... постановили», Данненбауэр восклицает: может ли господство знати быть выражено более отчетливо и недвусмысленно! Однако он почему-то счел нужным опустить вторую часть фразы, в которой упомянут «остальной собравшийся народ». Следовательно, господство знати далеко еще не было столь безграничным, чтобы отпала необходимость заручаться содействием народа. Данненбауэр проходит и мимо многих других титулов этой Правды, в которых отражено в той или иной мере влияние народа.

В противоположность этому Вернли находит в Алеманнской правде множество указаний, свидетельствующих о том, что эталоном полноправия все еще выступал простой свободный, даже если его уже можно было рас-

смаатривать как несостоятельного бедняка и т. д. Не удивительно, что liberi alamanni олицетворяют в его глазах не привилегированных, а простых свободных алеманнов, так как, судя по духу и букве Правды, простые свободные, представлявшие большую часть народа, рассматривались как носители полноправия.

Наконец, Вернли справедливо обращает внимание на то, что правовая сторона гражданского оборота простых свободных основывалась почти исключительно на устной традиции, что письменные источники VIII—IX вв. отразили прежде всего юридические акты господ. О простых свободных собственного права, свободных земледельцах-аллодистах мы узнаем только тогда, когда они по той или иной причине приходят в соприкосновение с вотчиной или королевской администрацией. К тому же юридические акты вотчинников сохранились постольку, поскольку они затрагивали интересы церкви. Именно эта односторонность источников раннефеодальной эпохи может легко создать впечатление, что единственными контрагентами всякого рода сделок являлись светские и духовные сеньоры. На этой зыбкой почве и конструируется тезис об отсутствии в структуре общества раннего средневековья простых свободных собственного права. Данненбауэр потешался над тем, что многие из традентов, которых Каро в свое время причислил к простым свободным, на поверку оказались вотчинниками. Однако и Данненбауэр, как и Майер (в полном противоречии с логикой «нового учения»), должен был допустить, в свою очередь, существование в VIII—IX вв. слоя простых свободных наряду с «королевскими свободными». Как могли вдруг появиться в VIII—IX вв. эти простые свободные, если их не было ни в один из предшествующих периодов истории, — остается загадкой для «новой школы». Сама вынужденность этого допущения свидетельствует лишний раз о том, что «новое учение» находится от начала до конца не в ладах с неопровержимыми фактами.

В заключение мы остановимся на трактовке Вернли вопроса о так называемых centenae. Прежде всего, кто такие центенарии? По мнению Данненбауэра, это командиры военных поселенцев на королевской земле, они вмешиваются в гражданские акты цензуариев, поскольку наблюдают за исправным поступлением ценза. Так как

концепция Данненбауэра по данному вопросу зиждется на двух предположениях: 1) королевские цензуарии — военные поселенцы и 2) центенарий — командир королевских поселенцев, то Вернли не стоило большого труда доказать полную ее несостоятельность.

Он исходит из предположения, что власть центенария — той же публичноправовой природы, что и власть графа. Свободные — даже в случае, если они являлись цензуариями, — подчинялись центенарию, как агенту публичной администрации короля. В источниках, приводимых Данненбауэром, нет ничего, что свидетельствовало бы об ином характере этой власти. Что же касается наблюдаемых попыток центенариев регулировать право земледельца распоряжаться своим наделом, то они, по мнению Вернли, лишь свидетельствуют о злоупотреблении центенариев властью, как злоупотребляли ею графы, стремившиеся свободную крестьянскую собственность, подчиненную им в публичноправовом отношении, превратить в зависимую от них в смысле частноправовой. И поскольку в отношении власти графа нет сомнений в публичном ее характере, то не правомерно ли точно так же трактовать и аналогичные действия центенария? Анализируя пожалование 817 г. Сен-Галленскому монастырю 47 мансов в 26 селениях и документ Мюрбахской церкви 840 г., Вернли приходит к заключению, что септае — это судебные-административные подразделения графства²².

Мы остановились на воззрениях Вернли отнюдь не потому, что все его решения — «конечные истины», а потому что он ратует за восстановление в силе более прогрессивных концепций буржуазно-либеральной историографии, опровержением которых занимается «новая школа». Столкновение этих двух линий развития современной буржуазной историографии по вопросу о происхождении и характере крестьянской свободы в средние века может служить хорошей иллюстрацией того, что приносит в историографию современность. То, что в научном плане выглядит как противоборство школ, лишь отражает борьбу общественных сил.

Следуя за Данненбауэром в его источниковедческих экскурсах, Вернли сумел вскрыть, сколь надуманными являются основные положения «нового учения».

Концепция «крестьянской свободы» в средние века,

с которой в канун второй мировой войны выступили Т. Майер и его единомышленники и которую они продолжали развивать в послевоенные годы, по существу своему является в научном плане модификацией концепции страбургской школы, выдвинутой еще в конце прошлого века. В плане идеологическом «новая школа» порождена атмосферой нацистского рейха. Именно поэтому стержнем «нового учения» оказалась проблема взаимосвязи свободы «простых людей» и государства. Как раскрывается эта связь в «новом учении», нам уже известно. По сути оно представляло собой прославление исторической роли военного предводителя, «народного вождя». Война и организация людей для войны рассматривались как единственная возможность для народных низов утвердить себя в качестве свободных. Вне войны и военной колонизации захваченных у других народов земель трудящиеся низы продолжали бы прозябать в вечной неволе — таков политический вывод, который напрашивается из «нового учения». Как тут не согласиться с мнением Вернли, который с полным основанием усмотрел в этом «учении» апологию государства фюрера. В анализируемой концепции поражает глубокий антиисторизм всех ее положений. Социальная история германских народов в ее освещении знает лишь внешнее, но не внутреннее развитие. Общественная структура этих народов со времени Тацита вплоть до IX в. рисуется в ней по существу как неизменная.

Буржуазная историография смешивает категорию свободы как выражение реального общественного отношения с представлением о свободе, фиксирующимся не столько в праве, сколько в социальной психологии. Вполне определенная содержательная, материальная характеристика свободы заменяется внешней, расплывчатой и вместе с тем совершенно оторванной от социального субстрата.

Это не значит, что реальное содержание свободы надисторично, неизменно. Марксистская историография далека от того, чтобы смешивать «статус свободы» в родо-племенном обществе со «статусом свободы» в обществе феодальном.

Однако при всей многогранности и изменчивости социально-психологического критерия того, что «есть свобода», марксистская историография вычленяет в этом со-

стойнии критерий, логически непреходящий, а именно: характер производственного отношения, опосредствующего статус индивида в обществе. Именно этот критерий позволяет вскрыть подлинную основу непрерывной эволюции конкретно-исторической характеристики свободы. Так, на протяжении средневековья, с момента становления феодализма как формации и вплоть до уничтожения феодальных отношений в ходе буржуазных революций, крестьянство как класс было основным эксплуатируемым классом общества. Это был класс несвободный в двойном смысле слова (лично и поземельно), хотя его несвобода, как известно, могла варьировать очень широко — от крепостничества до простого сословного неполноправия. Тем не менее в феодальном праве неоднократно менялся критерий крестьянской свободы относительно к неизменности самого отношения феодальной эксплуатации. В каролингскую эпоху таким критерием было непосредственное подчинение земледельца королевской власти и ее агентам на местах, т. е. свобода от частной власти сеньора.

В X—XI вв. — критерий свободы на время «затуманился», так как наступил период глубокого упадка самой королевской власти. В XII—XIII вв. отмечается появление нового критерия «крестьянской свободы»: отбывает ли крестьянин точно определенные, фиксированные повинности, или повинности его не определены, произвольны? Наряду с этим внутрикрестьянским критерием свободы в обществе указанного времени существовал еще критерий более общий, межклассовый: какое место данное лицо занимает в общественном разделении труда между управляющими и управляемыми, между носителями публичных функций и теми, кто предназначен был своим трудом их содержать? И это было естественно для общества, в котором юридические градации, «право» соответствовали самым непосредственным образом классовому членению, даже в период, когда последнее еще выступало в форме функционального членения в среде свободных. Поскольку же в общественном сознании, в том числе и в правосознании, причина и следствие (общественная функция и личный статус индивидуума) меняются местами, постольку в сфере межклассовых отношений социальное положение рассматривалось как «прирожденное» право.

Хорошо известно, что перед лицом сеньора представитель третьего сословия был всегда более или менее несвободен. Сословный строй европейского общества, эта смягченная форма кастового строя, олицетворяет лишь специфическую форму классового общества. Вот почему необходимо постоянно помнить, что в данных условиях речь может идти лишь о феодальной свободе, а не о свободе абстрактной, бессодержательной. История средневековья знает лишь одну коренную ломку понятия «свободы». Она имела место при переходе от строя варварского общества к строю феодальному, когда вместо древнего племенного критерия свободы (полноправия в силу самого факта принадлежности к племени) в обществе утверждается критерий отправления публичных функций (хотя бы в виде сохранения связи с королевской администрацией). Этот критерий фиксировал совершившийся общественный переворот, в результате которого классовое деление общества стало основанием для определения правоспособности его членов. Все же остальные сдвиги в понятии средневековой свободы отражали лишь сдвиги внутри этого классового отношения.

В марксистской историографии проблема крестьянской свободы в раннее средневековье была предметом скрупулезных исследований А. И. Неусыхина и его школы. Их результатом было выяснение как реально-исторического существа этой проблемы на отдельных стадиях раннефеодального развития, так и конкретного ее проявления в общественных отношениях на каждой из упомянутых стадий. Именно потому, что советские историки преодолели барьер формально-юридического истолкования общественных отношений и, следовательно, формально-юридических определений состояний, они увидели теснейшую связь между проблемами собственности и свободы в средние века.

В конкретно-историческом плане свобода земледельцев раскрывается ими как функция отношений собственности, т. е. в конечном итоге производственных отношений. Свобода общинника-земледельца, засвидетельствованная варварскими правдами, — это прежде всего наследие доклассового родо-племенного строя. Изживание и вырождение этой свободы в ходе становления феодального классового общества наполняют постепенно понятие свободы новым содержанием. Лишившись былого пози-

тивного содержания (отлившегося некогда в понятие полноправия), свобода в новых условиях оборачивалась для земледельца только своей негативной стороной — она теперь влекла за собой массу разорительных для мелкого хозяйства публичных повинностей. Не удивительно, что обязанности, не сбалансированные правами, превратились в непосильное бремя, от которого стремились избавиться. Королевская власть, поднимавшаяся в ходе завоеваний над этой свободой и воспользовавшаяся ею в собственных интересах, являлась в дальнейшем одним из важнейших факторов ее вырождения и гибели. Разумеется, остаточные прослойки старосвободных сохранились в порах феодального слоя — нередко в значительном числе, однако это случилось не столько благодаря королевской политике, сколько вопреки ей. Если вырождение и гибель старой свободы земледельцев были стержнем основного социального конфликта раннего средневековья, то борьба крестьянства за освобождение от феодальной зависимости представляет движущую пружину социальной истории классического средневековья. Естественно, обломки древней свободы, кое-где сохранившиеся в Западной Европе вплоть до XI в., не стали базой для возрождения крестьянской свободы — они могли служить лишь напоминанием о былом полноправии и независимости земледельцев — истинных создателей средневековой цивилизации.

ГЛАВА IV. О ТАК НАЗЫВАЕМОМ «КРИЗИСЕ ФЕОДАЛИЗМА» В XIV—XV ВВ.

Проблематика социально-экономической истории Западной Европы в XIV—XV вв. в послевоенное двадцатилетие выдвинулась на первый план в медиевистике многих стран Западной Европы и Северной Америки.

Острота поставленных в этой связи вопросов хорошо иллюстрируется той продолжавшейся ряд лет международной дискуссией, которая освещалась на страницах многих монографических исследований и периодических изданий¹.

Для так называемого «экономического направления» буржуазной исторической мысли в данной области характерна сама формулировка проблемы: характер и направление «экономического цикла» в XIV—XV вв., причины «циклизма» в экономической истории средневековья. В свою очередь, некоторые историки Запада, воспринявшие элементы марксистской методологии истории, перевели указанную дискуссию на язык «формаций». В их трактовке «экономический цикл» XIV—XV вв. превратился в «первый кризис феодализма» (Ф. Граус²), «общий кризис феодализма». Для историков этого направления вопрос ставился следующим образом: в чем заключались характерные черты «кризиса феодализма» в XIV—XV вв., какими факторами он был обусловлен, что следовало за «кризисом» в общественном развитии стран Западной Европы? Одним словом, как расценивать период кризиса с формационной точки зрения?

Таким образом, очевидно, что участники дискуссии в зависимости от тех или других разделявшихся ими теоретико-методологических посылок вкладывали совер-

шенно различное содержание в указанную общую проблему истории XIV—XV вв.

В данной главе делается попытка критически проанализировать основные направления, сложившиеся в западноевропейской историографии в связи с интерпретацией экономических явлений XIV—XV вв.

Интерес буржуазной историографии к «циклам кризиса» далекого и близкого прошлого не случаен. Он имеет свою историю, выходящую за рамки послевоенного двадцатилетия. Экономический кризис 1929—1933 гг., с одной стороны, опустошения и экономические трудности, обусловленные второй мировой войной и послевоенными кризисными явлениями в капиталистической экономике — с другой, побудили буржуазных медиевистов начать интенсивное изучение причин «аналогичных» явлений в прошлом. Этим путем так называемая «экономическая история» пытается не только объяснить послевоенную хозяйственную конъюнктуру стран Запада и «третьего мира», но и обосновать прогнозы ее развития в будущем.

Методологической основой буржуазных концепций «кризиса» XIV—XV вв. является своеобразный синтез воззрений, заимствованных из современной буржуазной политической экономии, социологии и демографии.

Буржуазная историография так или иначе исходит из признания антиисторической в своей сущности идеи об извечности и универсальности закономерностей обмена, которые рассматриваются едва ли не как законы природы вообще и человеческой природы в частности³. Отсюда следует, что «экономические тенденции» любой эпохи могут изучаться независимо от характера связанных с ними социальных фактов и в полном отрыве от всех иных сторон исторической действительности. Такова, например, трактовка проблемы движения цен, изучению которой на Западе придается чрезвычайно большое значение. Длинные «вековые ряды» цен рассматриваются едва ли не как основное мерило не только «деловой активности», но и «социальной динамики», причем и тех слоев, которые заведомо были лишь в незначительной степени втянуты в рыночные отношения. Так возникло представление об «экономических циклах» подъема или упадка рыночной конъюнктуры, рассматриваемой как вернейшее зеркало социально-исторического процесса, в том числе и в период средневековья.

Циклы различаются между собой: «короткие» (десятилетие и т. д.) обнаруживают «колебания» в пределах одной и той же конъюнктуры («подъема» и «упадка»), «длительные» (вековые) вскрывают более глубокую и устойчивую тенденцию хозяйственного роста или упадка. Первые могут быть обусловлены факторами, сравнительно быстро преходящими (недороды, войны), вторые связаны с причинами затяжного характера. Например, важное место в «теоретическом» обосновании тезиса о «кризисе феодализма» в XIV—XV вв. заняло учение о цикличности демографических процессов. Из сопоставления циклов роста или сокращения народонаселения с колебаниями «деловой активности» в рамках той же вековой динамики родилось представление о «вековых хозяйственных циклах». При этом причинно-следственная связь между указанными двумя рядами «циклов» истолковывается таким образом, что «вековые демографические циклы» оказываются в конечном счете основной и единственной движущей силой исторического развития. Все значительные повороты в истории, включая и социальные революции, получили универсальное объяснение в движении «кривых» народонаселения⁴. Сами же «демографические циклы» буржуазные историки объясняют влиянием факторов биологических, психологических или даже метеорологических⁵.

Таким образом, даже краткое знакомство с теорией «экономических циклов» убеждает в том, что она означает полный отрыв экономической истории от истории социальной, т. е. от истории производственных отношений, общественных классов и классового антагонизма. Очевидно, что социально-исторические закономерности подменяются в ней закономерностями мнимоэкономическими, а на деле — внеисторическими. Более того, исчезает почва для исторических закономерностей отдельных эпох. Грани между различными историческими эпохами полностью стираются. Переходы от одной эпохи к другой обнаруживаются в политическом строе, в системах моральных, культурных ценностей — во всяком случае, вне сферы «чистой экономики». Там же нет переходов и качественных скачков, там господствует неизменный закон спроса и предложения.

История, с точки зрения сторонников теории экономических циклов, есть наслоение замкнутых и чередую-

щихся по своей «хозяйственной конъюнктуре» кругов, различия между которыми носят лишь количественный, а отнюдь не качественный характер. Но сводить историю к этим определяемым чуть ли не космическими силами чередованиям «приливов» и «отливов» народонаселения — значит отрицать историю как науку⁶. «Теория циклов» — это по сути дела барьер, воздвигнутый на пути научного познания законов общественного развития. Научная несостоятельность теоретических основ этой концепции уже давно доказана. К. Маркс показал, что так называемый «закон народонаселения» является не биологическим, а историческим законом, что он определяется характером общественных отношений, господствующих в ту или иную эпоху⁷.

Этот важнейший вывод был впоследствии развит В. И. Лениным, который к нему неоднократно возвращался. Так, полемизируя с Ланге, он писал: «Условия размножения человека непосредственно зависят от устройства различных социальных организмов, и потому закон народонаселения надо изучать для каждого такого организма отдельно, а не «абстрактно», без отношения к исторически различным формам общественного устройства... Мы можем считать однородными условия существования только животных и растений, но никак не человека, раз мы знаем, что он жил в различных по типу своей организации социальных союзах»⁸. В другой работе В. И. Ленин указывал: «Что значит «ставить вопрос о населении на социально-историческую почву»? Это значит исследовать закон народонаселения каждой исторической системы хозяйства отдельно и изучать его связь и соотношение с данной системой»⁹.

Но если это не всегда под силу демографии, то историкам, во всяком случае, не следует об этом забывать, иначе они могут очутиться в заколдованном кругу причин и следствий, как это и случилось со многими участниками рассматриваемой дискуссии.

Зачинателем дискуссии о так называемом «кризисе XIV—XV вв.» следует признать немецкого историка хозяйства В. Абеля¹⁰. Однако его работы нельзя назвать исследованиями в собственном смысле слова, поскольку автор оперирует данными, почерпнутыми в большинстве случаев из вторых рук. Его выводы, основанные на разрозненных наблюдениях, компилируемых без всякой си-

стемы, без серьезной попытки их критического анализа, не внушают чрезмерного доверия. Представив «вековые движения» цен на пшеницу в среднеевропейских странах в виде волнообразных движений подъема и упадка, Абель обнаружил «кризисную конъюнктуру» в XIV—XV вв. Затем он попытался выяснить, чем были обусловлены эти колебания. Рассматривая поочередно монетарную теорию, так называемое учение о народонаселении и, наконец, учение Рикардо о земельной ренте, он явно склоняется к утверждению, будто бы уже в классический период средневековья начинал складываться хозяйственный строй, основы которого можно объяснить при помощи закономерностей буржуазной экономики. При этом фактору убыли народонаселения в его концепции принадлежит доминирующая роль.

Прежде всего, Абель находит в средние века наряду с феодальной рентой и особую земельную ренту, своего рода дифференциальную ренту, которая рассматривается им как функция рынка уже в XIII в. Исходя из этого он считает, что для понимания земельной ренты нужно изучать не аграрный строй, а только рыночный спрос и предложение сельскохозяйственных продуктов, к чему, по его представлениям, и сводится экономика сельского хозяйства во все времена.

Констатируя для XI—XIII вв. интенсивный прирост населения в «среднеевропейских» странах, а также параллельное движение кривой народонаселения и кривой цен на сельскохозяйственные продукты, Абель подчеркивает: «В тесной связи с этим быстрым ростом населения видоизменяются формы старого аграрного строя». Таким образом, определяющим в этой удивительной параллели является, по мнению Абеля, рост народонаселения¹¹. Вот нить его рассуждений. В связи с сильным приростом населения (с XI до середины XIV в.) земельная площадь, пригодная для обработки, была исчерпана, что обусловило рост хлебных цен. В результате возросли и земельные ренты (заметим, ренты не феодальные, а земельные, лишенные исторической определенности!). В этом состояла основа «роскошного образа жизни» дворянства и «благополучия крестьянства», как и общее благополучие народов в указанных странах.

«Черную смерть» 1347—1351 гг. Абель рассматривает как наступление перелома. Сокращение населения Сред-

ней Европы больше чем на одну треть разрешило перенапряженное «несоответствие» между народонаселением и культивируемой площадью; сельскохозяйственная площадь стала теперь избыточной, под обработкой остались лишь лучшие земли, худшие забрасывались¹². В результате — падение цен на продукты земледелия, а значит, и земельной ренты, кризис «земледельческих классов», запустение деревни. Вторая половина XIV—XV в. — период аграрной депрессии вследствие резкого сокращения спроса на сельскохозяйственные продукты, обусловленного, в свою очередь, стагнацией народонаселения¹³.

Таковы теоретические и исторические послышки концепции «аграрного кризиса» XIV—XV вв. Эта концепция Абеля легла по существу в основу всей последующей дискуссии о так называемом «кризисе феодализма». Важно отметить, что участники дискуссии развивали и видоизменяли лишь детали данной концепции. Главная же ее идея, из которой следует, что экономика средневековья вообще и сельского хозяйства в частности может и должна изучаться в отрыве от конкретно-исторических условий, применительно к критериям и понятиям буржуазной рыночной конъюнктуры, оставалась без изменения в многочисленных последующих исследованиях и превратилась в своего рода всеобщую догму современной буржуазной медиэвистики.

Продолжая развивать указанную концепцию, Абель опубликовал в 1943 г. работу, в которой поставил целью исследовать на материале преимущественно Германии процесс запустения в XIV—XV вв. Факты, собранные в его книге, должны были служить иллюстрацией проявлений и последствий аграрного кризиса: сокращение сельского населения, исчезновение множества деревень, массовое запустение полей и т. д. Общий же вывод так: заключительный период средневековья (для Абеля — это XIV—XV вв.) был периодом хозяйственного упадка, ибо он совпал с «демографическим циклом» сокращения народонаселения¹⁴.

Ф. Лютге считает основной заслугой Абеля установление фактической стороны проблемы; сам же он занялся истолкованием последствий новой экономической ситуации, возникшей после «демографической катастрофы» середины XIV в. Однако, прежде чем изложить суть предложенной им концепции, с ним нельзя не согласить-

ся, по крайней мере, в одном пункте: именовать XIV—XV вв. «переходной эпохой» бессмысленно, поскольку переходными от чего-то к чему-то «являются почти все без исключения вековые отрезки» в истории. Между тем XIV—XV вв. отличаются неповторимыми особенностями, они составляют самостоятельную эпоху в экономической, социальной, политической и в известном смысле духовной жизни европейских народов. Вскрыть существо данной специфики, разумеется, гораздо труднее, чем находить в этой жизни «переживания» прошлого или «предвосхищение» явлений будущего.

Поворотным пунктом европейской истории в средние века Лютге считает «Черную смерть» 1347—1351 гг. (и последующие эпидемии 60-х — 80-х годов того же века), скосившую от одной трети до половины населения (по крайней мере, в странах Западной и Центральной Европы). Очевидно, что этот столь глубокий «разлом», этот перерыв, изменивший не только направление исторического развития, но и самый характер его, его структуру, связывается Лютге с чисто внешним фактом, со «случайностью», которой могло и не быть, а следовательно, могло не быть и всей последующей истории, поскольку XVI в. все же вырастает из специфики XIV—XV вв., а не из «классического средневековья».

В этом положении Лютге ярко проявилось его отношение не только к идее закономерности исторического процесса, но и к важнейшим факторам, его направляющим. В чем же сказался указанный разрыв? Ответ Лютге может быть суммирован следующим образом: начиная с эпохи Каролингов и вплоть до середины XIV в. развитие европейских народов шло в общем и целом по восходящей линии, будучи прямолинейным и непрерывным. Это была длительная эпоха роста, экспансии — демографической, агрикультурной, колонизационной, торговой и т. д. Катастрофа, связанная с «Черной смертью», впервые столкнула народы Европы с кризисной ситуацией, проявившейся острее всего в рыночной конъюнктуре на продукты земледелия, обусловленной все той же небывалой убылью народонаселения. Потрясения были столь велики, что возникла новая структура хозяйства, давшая дальнейшему развитию новое, качественно иное направление. Вкратце оно может быть сформулировано одним термином — ранний капитализм (Hochkapitalismus).

Как же аргументируется этот тезис? Лютге исходит в своем построении из того постулата теоретической экономики, согласно которому функционирование хозяйства как системы определяется тремя факторами: трудовыми ресурсами, «капиталом» (средства производства, материалы), земельной площадью. Резкое изменение в соотношении этих факторов (увеличение или сокращение только одного из них) приводит к нарушению равновесия в системе. Так, в результате «Черной смерти» (и последовавших за ней эпидемий) резко сократился фактор «труда», в то время как два других остались более или менее неизменными. И последствия — самые далеко идущие — не замедлили сказаться. В области обмена резко упали цены на продукты земледелия. Возделывать малоплодородные земли стало экономически нерентабельно, что вызвало массовое забрасывание худших из новоколонизованных земель. Этот процесс известен под названием «запустений» (Wüstungen). Значительная часть выжившего сельского населения покинула деревню и переселилась в города, где по сравнению с деревней убыль населения в результате эпидемий была неизмеримо большей, чему содействовали скученность и антисанитарные условия. Это положило начало расцвету ремесла и торговли. Особенность данного периода в истории ремесла заключалась в том, что оно производило уже не для ближайшей сельской округи, а для сбыта на более отдаленные расстояния. Начался период обмена между городами.

Открытие далеких рынков объясняет в значительной мере, почему цены на изделия ремесла упали в меньшей степени, чем цены на продукты земледелия, а цены на продукты животноводства оказались средним равнодействующим.

Так благодаря кризису возникло предпринимательство в крупных масштабах. Этому содействовали также факторы социальный, политический, и, что немаловажно, психологический. Начать с того, что в деревне, как предполагает Лютге, сложились условия для улучшения методов хозяйствования крестьян, поскольку земля стала доступна каждому, кто хотел ее получить заново или намеревался расширить уже существующее хозяйство. Сеньоры больше всего страдали от недостатка держателей и потому стали на путь сокращения повинностей, уничтожения наиболее обременительных из них (барщины) и освобождения крестьян от личной зависимости.

Одним словом, создается впечатление, что единственное, от чего страдали крестьяне, — это отсутствие инициативы, энергии, хозяйственной смекалки и т. п.

Еще более резким был поворот в городах. Если в деревне избыточной оказалась земля, то в городе — капитал: выжившим после эпидемий горожанам (вместе с вновь поселившимися) предстояло поделить между собой «капитал» (и в совокупности — немалый), оставшийся «ничейным», выморочным. Так возникли крупные состояния (кстати, в 1366 г. из деревни в Аугсбург переселился Ганс Фуггер — родоначальник знаменитого торгового и банкирского дома). Но, что самое важное: теперь состояния уже не скапливаются в виде «кладов», а наоборот, клады «размораживаются» и втягиваются в оборот. Благодаря разившемуся после «Черной смерти» духу приобретательства, расчетливости, предприимчивости состояния теперь вкладываются в «дело» — торговлю, займы и т. п. Так начался «золотой век» европейского города, сказавшийся не только в завоевании большим числом из них статуса имперских (в Германии) коммун и т. п., но и в строительных начинаниях (сооружение оборонительных укреплений, ратуш, соборов и т. д.).

Наконец, важные перемены происходят и в сословии дворян. Если та часть дворянства, которая обладала значительными публичноправовыми ресурсами, сумела восполнить убыль земельной ренты за счет повинностей публичноправового характера, то низшее дворянство, лишенное подобной возможности, переживало всеобъемлющий сословный кризис. В результате оно и в политическом отношении оттесняется бюргерством.

Таковы основные линии построения Лютге, построения, претендующего на истолкование сложного, крайне противоречивого периода, характеризуемого как «кризис XIV—XV вв.» Нет сомнения, что в изложенной концепции содержатся и ценные наблюдения, и заслуживающие проверки гипотезы. Однако это частности. В целом же нас не может не поразить умозрительность, надуманность основных посылок. Достаточно напомнить хотя бы утверждение Лютге о сглаживании имущественных различий в деревне — утверждение, сделанное только на том основании, что имелась (умозрительная) возможность их сгладить. Что же касается того, насколько эта возможность в действительности реализовалась, то Лютге это

меньше всего занимает — ведь он создает «теорию» процесса. Что же удивительного в том, что его теория весьма далека от действительности (это относится не только к имущественным сдвигам в деревне, но и к наиболее важному, как кажется Лютге, тезису — о происхождении крупных состояний в городе). Однако самой неприемлемой является исходная точка зрения Лютге на «первопричину» кризиса — она, как мы видели, сконструирована целиком и полностью по неомальтузианской модели, рассматривающей, как известно, только соотношение между двумя факторами — динамикой народонаселения и динамикой производства средств существования — и полностью игнорирующей фактор общественных отношений, характерных для данного способа производства. Приводить в качестве «доказательств» пресловутый закон убывающего плодородия почвы и полностью опустить общественно-историческую обусловленность перестройки сеньории в XIV—XV вв., значит проявлять предвзятость, ничего общего не имеющую с объективным исследованием.

Взгляды, чрезвычайно близкие к концепции Абея — Лютге, развивал в своих исследованиях известный английский историк-экономист М. М. Поста¹⁵, который в наиболее законченной форме выразил точку зрения современной западной медиевистики на характер и направление хозяйственных процессов в Западной Европе XIV—XV вв. Наиболее полно его концепция отражена в докладе на Парижском конгрессе историков (1950 г.) и в статье «Хозяйственные основы средневекового общества».

Исходные позиции Поста отчетливо проявляются в толковании им «хозяйственных оснований средневекового общества». Оказывается, что ими являются такие «экономические факторы» (население и поселение, техника производства и общие тенденции развития хозяйства), эволюция которых может якобы рассматриваться вне связи с эволюцией юридических и социальных институтов и отношений между классами.

Таким образом, для Поста, как и для Абея, существует сфера некоей «чистой экономики», которая развивается в соответствии с имманентными закономерностями, остающимися неизменными, несмотря на исторические различия эпох. Фазы средневековой эволюции он сводит лишь к «типу экономической конъюнктуры» — «экономическому росту» или «экономическому упадку». Иначе

говоря, по его мнению, само хозяйственное развитие в отдельные периоды, оставаясь неизменным, по существу может различаться только направлением кривой («рост» или «упадок») и своей интенсивностью. В силу этого исчезают какие-либо грани между общественно-экономическими формами производства. «Хозяйственные циклы» их не знают и игнорируют. Например, по мысли Поста, экономика первых веков средневековья является лишь кульминацией хозяйственного цикла Позднеримской империи. Тем более не существует качественных изменений внутри феодальной формации. «Цикл подъема» в XII—XIII вв. идентичен аналогичному циклу XVI в., точно так же идентичны циклы упадка XIV—XV вв. и XVII в.

Согласно Посту, периодизация истории должна осуществляться не по типу общественной организации производства, а прежде всего по состоянию «рыночной конъюнктуры», рассматриваемой им как важнейший показатель состояния экономики и общества в целом. Объективный смысл его методологии состоит в том, что экономические закономерности товарного и хозяйственного порядка превращаются из сугубо исторических в «надисторический», универсальный критерий познания прошлого. Циклы хозяйственного расцвета во все времена сменялись, дескать, циклами упадка и кризисов, а последние — новым подъемом. Одним словом, такая «закономерность» экономической жизни якобы может быть прослежена чуть ли не с доисторических времен у различных народов и, следовательно, не имеет ничего общего с характером общественного строя, его судьбами. Именно к таким выводам приводят взгляды ряда экономистов — сторонников этой методологии (например известного шведского историка-экономиста Ф. Хекшера).

Поста интересуется прежде всего истолкование фактов экономического кризиса XIV—XV вв.: чем вызвана была смена цикла «хозяйственного подъема» в Западной Европе XI—XIII вв. циклом «депрессии и кризиса» в XIV—XV вв.? Он отвергает выводы монетарной теории, в частности норвежского историка-экономиста Шрейнера, объяснявшего кризис XIV в. истощением давно разрабатывавшихся (в Германии, Чехии и других странах) серебряных рудников, следствием чего явилось резкое сокращение притока серебра на рынки этих стран.

Постан ссылается на пример Англии, где недостаток серебра стал ощутим лишь в середине XIV в., а цены заметно падали уже в первой четверти этого века.

Но как же сам ученый объясняет кризис XIV—XV вв.? Причины его он связывает с демографическим фактором.

Следует признать, что концепция кризиса XIV—XV вв., предложенная Постаном, эволюционировала в направлении «ослабленного» неомальтузианства. Отталкиваясь от тезиса о «перенапряжении» естественных сил, автор стал учитывать в последнее время фактор динамики феодальной ренты. Нельзя, разумеется, отрицать исключительно важную роль «человеческого фактора» в средневековых формах производства, поскольку очевидно, что рост производительности труда совершается главным образом в форме увеличения суммарного труда, т. е. числа трудящихся, занятых в данной сфере производства. Вместе с тем нельзя не видеть, насколько тесно движение народонаселения связано (и обусловлено) с динамикой производственных отношений. И в ходе анализируемой дискуссии эту связь — желал он этого или нет — выявил в своих построениях не кто иной, как именно Постан. Вначале его точка зрения мало чем отличалась от решений, предложенных Абельем и Лютге: рост народонаселения в XI—XIII вв. обусловил все явления хозяйственного «бума», характерного для данного периода, точно так же как сокращение народонаселения в XIV—XV вв. привело к всеми отмечаемым кризисным явлениям. Сокращение спроса на продовольствие, образование излишка над потреблением определило падение цен, сделало невыгодным земледелие на малопродуктивных землях, вызвало запустение деревень и т. д. «Демографические циклы» в соединении с действием пресловутого закона убывающего плодородия — вот якобы универсальное объяснение развития экономики и в XI—XIII вв., и в XIV—XV вв.

Природа, заключает свои рассуждения Постан, наказывала за повышенные требования к ней. Избыточное население (конец XIII в.), жившее на грани минимума жизненных средств — в условиях длительного застоя техники производства, — создает постоянную угрозу перенапряжения естественных сил. В действие рано или поздно вступает ограниченность плодородия и его убывание.

Начинаются хронические неурожаи и длительные периоды голода, сопровождаемые эпидемиями, и все развитие экономики поворачивает вспять или, по крайней мере, топчется на месте.

В результате подобных рассуждений мы оказываемся в заколдованном кругу: рост народонаселения обуславливает истощение плодородия и сужает границы пригодной для обработки почвы; в то же время закон убывающего плодородия оказывается определяющим фактором в движении самого народонаселения, так как под его воздействием меняется динамика последнего. Но если «первопричина» в конечном счете связана с динамикой народонаселения, то чем определяется последняя? На этот вопрос Абель отвечал почти мистически, ссылаясь на «психический фактор», регулирующий демографические циклы, на изменение воли народов к продолжению рода. Подобные рассуждения сами по себе являются наиболее красноречивым опровержением чрезмерной нагрузки на фактор народонаселения в историко-экономическом исследовании.

Что же касается Постана, то в последние годы он, судя по всему, стал двигаться в направлении более плодотворном, обратив внимание на имущественное положение низших слоев крестьянства. Рост численности безнадельных держателей типа коттеров был неизмеримо более интенсивным в сравнении с ростом народонаселения в целом. Явления феодальной реакции в XIII в. больше всего затрагивали малоимущие слои крестьянства, жизненный уровень которых ухудшался. Многолетнее недоедание не могло не сказаться на кривой смертности и рождаемости этой категории. Наиболее важное в этой связи наблюдение Постана заключается в том, что действительный демографический перелом наступил вовсе не с «Черной смертью», а по крайней мере на полстолетия раньше. Это видно хотя бы из численности постолежных поборов (геритов), собиравшихся в манорах уже в конце XIII — начале XIV в.

Вообще проблема демографической катастрофы середины XIV в. неразрешима без изучения того фона (множество не состоящих в браке бобылей, поздние браки, крайне пониженная сопротивляемость болезням и т. п.), на котором разразились эпидемии XIV в. Значение этого вывода чрезвычайно велико. Недаром на него обрушились

те демографы и историки, которые стоят на точке зрения биологического объяснения исторического процесса (Рассел и др.). Оно объясняется тем, что фон, принимаемый во внимание Постановом, требует постановки вопроса о социальной его обусловленности. Не находятся ли все упомянутые явления в динамике народонаселения конца XIII — начала XIV в. в тесной связи с феодальной реакцией, симптомы которой одним из первых выявил тот же Постап? Постап прямо не указал на эту обусловленность, он просто сопоставил факты, из которых вывод уже напрашивается сам собой, — и именно этого не могут ему простить некоторые его коллеги. Так или иначе, Постап сделал многое для научного объяснения проблемы кризиса XIV—XV вв., хотя сам все же остановился перед таким объяснением, остановился вопреки логике собственных исследований.

Следует сказать, что в трактовке Постапа проблема кризиса XIV—XV вв. приняла новые очертания. «Аграрный кризис» Абеля превратился у Постапа во «всеобщую длительную хозяйственную депрессию», поразившую в одинаковой степени деревню и город, земледелие и ремесло, торговлю и мореплавание.

Основное доказательство Постапа — состояние рыночной конъюнктуры, определяющей соотношение спроса и предложения. Однако не кто другой, как Постап (доклад 1950 г.), справедливо заметил, что, следуя слишком далеко в этом направлении, легко дойти до абсурда, ибо может создаться впечатление, что «средневековые крестьяне сеют и жнут, повинаясь экономическим стимулам со стороны международных цен».

Наконец, важно отметить, что для Постапа «кризис XIV—XV вв.» вовсе не является «кризисом феодализма». Постап вообще нигде не употребляет этого термина в данной связи. И не только потому, что он склонен интерпретировать феодализм чисто юридически, но и потому, что в экономике того времени он усматривает явления капиталистические. Именно поэтому он предпочитает говорить о «хозяйственных основаниях» общества вне всякой связи с конкретно-историческими факторами их бытия.

Сложившаяся на английском материале концепция Постапа, ряд основных положений которой получил на Западе широкое распространение, как бы подверглась

проверке в коллективном докладе на Римском международном конгрессе историков (1955 г.): «Европейская экономика последних двух веков средневековья» (т. е. XIV—XV вв.). Его авторы — М. Молла, М. Постап, П. Иогансен, А. Сапори и Ш. Ферлинден¹⁶.

В разделе, посвященном сельскому хозяйству, авторы доклада не смогли доказать тезис о всеобъемлющем характере кризиса, который якобы охватил всю Западную Европу в XIV—XV вв. Точно так же не удалось им создать и сколько-нибудь цельную картину экономического упадка XIV—XV вв. и в разделе, посвященном промышленности, в частности сукноделию — этой наиболее важной ее отрасли в пору европейского средневековья. Кроме всего прочего, состояние фактического материала таково, что в большинстве случаев можно лишь ставить вопросы, ответы на которые оказываются делом будущего.

Раздел IV доклада («Тенденция экономической эволюции»), по замыслу авторов, должен был суммировать весь предыдущий весьма пестрый материал. На деле же он показал прежде всего, что концепция общего кризиса европейской экономики в XIV—XV вв. не разделяется до конца даже некоторыми авторами самого доклада. В конечном итоге они вынуждены были признать «крайнюю разнородность европейской экономики» в указанные столетия; тенденции различных отраслей хозяйства в отдельных районах были подчас столь противоречивы, что говорить об общем подъеме или упадке попросту невозможно.

О Германии авторам пришлось сказать, что разнородность отдельных районов «делает до сих пор невозможным определение общих этапов эволюции, поскольку это относится к кризисам XIV в.» Лишь по поводу экономики Англии автор раздела (М. Постап) заявил, что хотя о ней нельзя говорить как о едином целом, все же в ней отчетливо прослеживается тенденция к упадку.

В заключении доклада такая тенденция без каких-либо дополнительных доказательств приписывается затем всей Европе. При этом, однако, относительно Нидерландов и стран Пиренейского полуострова признается необходимым пересмотреть гипотезу о всеобщей длительной депрессии в XIV—XV вв. Италия вообще исключается из общей картины «кризиса»: локальный материал слишком

противоречив и не позволяет сделать какие-либо выводы как о направлении цикла в той или иной отрасли хозяйства, так и о его протяженности во времени.

Еще более разноречивы мнения других участников дискуссии. Перруа, например, соглашаясь в целом с констатацией «вековых хозяйственных циклов», предпочитает, однако, говорить не о кризисе XIV в., а о кризисах, точнее — о ряде параллельных кризисов, лишь совпадающих по времени, но разнородных по происхождению и по существу. Так, он различает в XIV в. общую и длительную тенденцию экономического спада и одновременно с ней кризисы, ограниченные во времени, носящие преходящий характер. К числу последних он относит зерновой кризис (1315—1320 гг.), двойной — финансовый и денежный (1335—1345 гг.) — и, наконец, демографический кризис (1348—1350 гг.). Взаимодействие этих кризисов, заключает он, оказало парализующее влияние на экономику Западной Европы и удерживало ее в течение целого века в состоянии длительного спада.

Таким образом, хотя и Перруа склонен искать причины «кризиса XIV в.» вне системы производственных отношений, тем не менее он не связывает его с одним лишь спадом в численности народонаселения. Случайное совпадение фактов, действовавших в одном направлении, вызвало хозяйственный спад. Перруа отказывается признать определяющую роль за какой-либо одной из указанных им причин. В итоге его концепция «кризиса XIV в.» столь же мало объясняет развитие экономики XIV в., как и концепция Абея — Лютге.

Другие же толкования «кризиса XIV в.» характеризуются тем, что в них выдвигается на первый план какая-либо одна решающая причина, которая якобы проливает свет на все имевшие тогда место явления.

Некоторые из историков все более склоняются к теории «катастроф» — политических, биологических или даже метеорологических, приписывая им значение поворотных пунктов в историческом процессе.

Так, Бутрюш, объясняя «кризис XIV в.» во Франции, выдвигает на первый план опустошения, вызванные Столетней войной. Австрийский историк Хеллейнер видит в эпидемии чумы решающий фактор, обусловивший «трудные времена» во второй половине XIV в. и в XV в. При этом он считает, что такие явления, как упадок

шампанских ярмарок, наметившийся уже в конце XIII в., или сокращение продукции фландрского сукноделия в начале XIV в., не противоречат его концепции. Один из названных фактов объясняется, по его мнению, войнами, другой является только симптомом локальных процессов. В конечном счете Хеллейнер приходит к выводу, что «катастрофа Черной смерти» в Европе положила начало эпохе, характер которой в существенных чертах отличается от предыдущей. Так мы возвращаемся к точке зрения, которую даже в начале нашего века считали опровергнутой. Поскольку же Хеллейнер говорит о «демографической катастрофе», он тем самым прямо указывает на первопричину «хозяйственной депрессии» XIV—XV вв. — на «биологические последствия эпидемии».

Еще более отчетливо подобная точка зрения выражена в работах Д. Салтмарша («Эпидемия и экономический упадок Англии в позднее средневековье») и Э. Кельтера («Хозяйственная жизнь Германии в XIV—XV вв. в тени чумных эпидемий»). Д. Салтмарш полагает, что ряд последовательных, хотя и локальных, эпидемий, имевших место после «Черной смерти», по своим совокупным последствиям может лучше объяснить английскую историю, чем сама по себе «Черная смерть»: последствия «Черной смерти» были бы преходящими, убыль народонаселения намного быстрее восполнилась, если бы последующие за ней эпидемии 60-х — 80-х годов не затормозили этот процесс на долгие десятилетия. Э. Кельтер идет еще дальше, утверждая, что эпидемиям чумы принадлежала главная и прямо-таки революционизирующая роль в социальной, экономической и культурной эволюции Западной Европы. «Катастрофа» середины XIV в. якобы полностью изменила свойственное предыдущему (т. е. собственно средневековому) периоду соотношение «почвы, труда и капитала». В результате произошла трансформация всей хозяйственной и социальной жизни Западной Европы.

Не удивительно поэтому, что в отличие от остальных участников дискуссии о «кризисе XIV в.», считавших, что он происходил еще в хронологических рамках средневековья, Кельтер утверждает, что средневековье по существу закончилось эпидемией чумы в середине XIV в., коренным образом изменившей прежнюю структуру общества. С этого же момента развитие началось (именно

началось, а не продолжалось!) на новой социальной основе — с меньшей численностью народонаселения. Полтора столетия (с 1350 по 1500 г.), по мнению Кельтера, являются самостоятельным периодом с особым строем «чувствования, желания и мышления».

Концепция Кельтера как две капли воды напоминает построение Ф. Лютге. Единственное отличие Лютге — в том, что он связал с социальными последствиями «Черной смерти», не только «конец феодализма», но и генезис капитализма. Перераспределение богатства между сократившимся числом его обладателей, миграция деревни в город, новая форма социального расслоения — таковы, по мнению Лютге, предпосылки капитализма в XIV в.

Выводы этих историков отчетливо свидетельствуют о тенденции современной буржуазной медиевистики решить вопрос о переходе от феодальной к капиталистической формации, полностью игнорируя социальные антагонизмы, порожденные феодальным способом производства, подменив их научный анализ рассуждениями о всякого рода катастрофах, в первую очередь биологических и даже климатических, которыми будто бы обусловлены поворотные моменты исторического развития народов. Отсутствие места не позволяет сколько-нибудь подробно анализировать концепцию «кризиса XIV в.», выдвинутую норвежским историком И. Шрейнером. Замечу только, что его «монетарная теория» объясняет этот кризис не в большей степени, чем только что рассмотренные построения. Концепция Шрейнера свидетельствует, однако, о том, что отнюдь не все участники дискуссии, признающие «кризис XIV в.», склонны объяснять его демографическим фактором.

Может возникнуть вопрос: откуда же взялось представление о «кризисе феодализма» в XIV—XV вв., если ни один из упомянутых выше исследователей ни словом не обмолвился о феодализме вообще? Впервые оно было сформулировано английским историком Р. Хилтоном, который — это следует признать — перевел дискуссию на социальную почву, поставив экономические тенденции XIV—XV вв. в тесную связь с развитием феодального способа производства. Вместе с тем значительные отступления от марксистской методологии, которая ему не была чужда, привели Хилтона к выводам, не так уже далеко отстоящим от взглядов Постана.

Хилтон тоже признает наличие длительного экономического спада в XIV—XV вв., сопровождавшегося сокращением населения. Его результатом было резкое сокращение феодальных доходов, толкавшее дворянство на военный разбой и грабеж. Таковы первопричины феодальных войн и усобиц XIV—XV вв. Рост налогов, вызванный войнами, послужил причиной городских восстаний; борьба за ренту имела своим результатом крестьянские восстания XIV—XV вв. Итак, перед нами совокупность экономического, политического и социального кризисов, признаваемых, как мы видели, и многими другими буржуазными историками.

Пытаясь, однако, найти для «кризиса XIV в.» более глубокое, социологическое объяснение, Хилтон пришел к выводу, что исходной и определяющей причиной этого кризиса явился «всеобщий кризис феодализма» как способа производства, якобы наступивший уже в XIV в. Поэтому Хилтон видит гораздо больше оснований для сравнения данной эпохи с последними веками кризиса Римской империи, чем с кризисами внутрiformационными. Точно так же, как на закате древнего Рима общество было парализовано все более увеличивавшимся расходом на содержание социальных и политических институтов, которые не могли быть восполнены никаким ростом производительных сил, всеобщий кризис феодализма был обусловлен тем, что в последние века феодализма (для Хилтона это те же XIV—XV вв.) — в условиях стагнации производительных сил общества — происходило прогрессирующее увеличение феодального потребления. Кризис производительных сил в XIV в. был обусловлен, по мнению Хилтона, неспособностью феодальной экономики обеспечить производительное использование доходов в целях улучшения техники производства.

Итак, в концепции Хилтона решающую роль играет признание общего кризиса феодального общества в XIV—XV вв., разрешившегося в конце XV в. на почве уже новой, капиталистической экономической системы. Наиболее примечательным является то, что Хилтон, принимая почти полностью «циклическую» схему хозяйственной конъюнктуры, на словах полемизирует с ней.

Так, в начале своей статьи Хилтон декларирует необходимость объяснить «кризис XIV в.», исходя не из «рыночной конъюнктуры», а из своеобразия феодального

способа производства, т. е. из особенностей свойственно-го ему социального антагонизма. Однако объяснение, предложенное самим Хилтоном, по существу столь же обходит этот антагонизм, как и все предыдущие. В самом деле, тезис о неспособности феодального общества обеспечить постоянный рост производительности труда (ибо оно не создает стимулов к этому, не побуждает к дополнительным вложениям капитала), ни в коем случае не является истинным, так как он исходит из закономерностей капиталистического, а отнюдь не феодального производства. Прогресс феодализма осуществлялся не через хозяйство феодалов, а через хозяйство крестьян. Именно поэтому он был столь медленным. Тезис Хилтона ничего не объясняет в экономике XIV—XV вв. хотя бы потому, что основным элементом производительных сил, от которого в ту эпоху зависел рост производительности общественного труда, являлся сам трудящийся человек. Хилтон игнорирует тот факт, что феодализм именно потому и явился более прогрессивным способом производства по сравнению с рабовладельческим, что, освободив необходимую часть рабочего времени непосредственного производителя, он обеспечил объективные возможности для роста производительности труда. В XIV в. эти возможности не только не были исчерпаны, но даже увеличились по сравнению с предыдущим периодом.

Более того, Хилтон вообще отрицает для феодальной эпохи какие-либо потенции роста производительности общественного труда. Увеличение объема производства, отмечаемое в XI—XIII вв., в частности в земледелии, он рассматривает лишь как результат его экстенсификации (увеличение посевных площадей, увеличение нормы высева и т. д.).

Упрекая своих оппонентов в модернизации средневековых условий, Хилтон, как мы видим, впадает в ту же ошибку, когда рассматривает средневековое хозяйство через призму закономерностей современной агрикультуры. Для судеб феодальной экономики не столь важна форма потребления ренты (при этом нельзя полностью отрицать наличие элементов и производительного потребления), сколько отношение ренты к эмбриональной прибыли в хозяйстве крестьян. Динамика ренты и избыточного продукта представляет истинный стержень экономики XIV в., но именно она меньше всего привлекает к себе внима-

ние Хилтона. Наконец, трудно согласиться с тезисом Хилтона, будто сеньориальная эксплуатация крестьянства (в частности в Англии) была в XIV—XV вв. тяжелее, чем в XIII в., в пору высшего расцвета английского вилланства.

Тот факт, что не XIII, а XIV век является периодом крупных крестьянских восстаний, еще ни о чем не свидетельствует, так как восстания эти были обусловлены не только степенью эксплуатации, но в значительной мере тем, в каких социально-экономических условиях она осуществлялась, в какой мере эта эксплуатация угрожала лишить крестьянство достигнутого уровня эмансипации. «Феодальная реакция» XIV в. заключалась не столько в том, что возросла степень эксплуатации по сравнению с предыдущим периодом, сколько в том, что она поставила под угрозу результаты склонившейся в пользу крестьян чаши весов в борьбе за ренту.

* * *

Проблема так называемого «кризиса XIV—XV вв.» представляется проблемой огромной научной важности, ибо речь идет вовсе не об «экономическом цикле», а о важном поворотном пункте в истории феодализма как общественно-экономической формации, о качественном ее скачке. Выяснить содержание и значение этого перехода значит раскрыть сущность исторического процесса в условиях, чрезвычайно противоречивых, усложненных подчас явлениями внешними, наносными, наконец, завуалированными отношениями товарного производства, уводящими далеко в сторону от самой сути проблемы, если только рассматривать их не как одну из черт данной эпохи, а как основное ее содержание. Программу такого исследования почти в развернутом виде мы находим в трудах К. Маркса.

Для того, чтобы правильно судить о феодальном производстве, писал К. Маркс в «Нищете философии», «нужно рассматривать его как способ производства, основанный на антагонизме. Нужно показать, как в рамках этого антагонизма создавалось богатство, как одновременно с антагонизмом классов развивались производительные силы, как один из классов, представлявший собой дурную, отрицательную сторону общества, неуклонно рос до

тех пор, пока не созрели, наконец, материальные условия его освобождения»¹⁷. Нужно ли указывать на то, что, поскольку речь идет о XIV—XV вв., таким классом являлось средневековое крестьянство! Изучить с точки зрения положения этого класса всю совокупность общественных явлений, вскрытых в ходе анализируемой дискуссии, значит найти единственно верный ключ к решению вопроса. Это во-первых. Во-вторых, обострение классовой борьбы, проявление ее высших форм и в массовом масштабе является, разумеется, симптомом кризиса данного строя общественных отношений. Весь вопрос, однако, заключается в том, что следует четко различать общественные кризисы внутриформационные и межформационные, поскольку с точки зрения функционирования и развития данной формации классовая борьба играет в них различную роль.

Известно, что классовый антагонизм не только подрывал феодальный строй, но до поры до времени был мощным фактором, двигавшим феодализм вперед, содействуя видоизменению как форм феодальной эксплуатации, так и надстройки. Одним словом, до тех пор, пока не созрели объективные условия крушения феодализма, классовая борьба самым отрицанием этого способа производства заставляла господствующий класс шаг за шагом исчерпывать до конца все заложенные в данном обществе потенции прогресса. Но можно ли с этой точки зрения сколько-нибудь серьезно говорить о формационном общем «кризисе феодализма» в XIV—XV вв.? На наш взгляд, ни в коем случае. Ибо и Жакерия, и восстание Уота Тайлера, и гуситские революционные войны не только расшатывали до основания этот существующий строй, но и заставили господствующий класс изыскать новые жизненные силы, скрытые в недрах отстаиваемого им строя, чем не только продлили его существование еще на несколько столетий, но и толкнули развитие феодального общества по пути прогресса, который не могут заслонить все обнаруженные явления упадка вместе взятые. Поэтому усматривать в классовой борьбе лишь отрицательную силу истории значит отрицать ее подлинную роль великой творческой и созидательной силы общественного развития. Ниже мы попытаемся наметить основные, на наш взгляд, линии марксистского истолкования «кризиса XIV—XV вв.»

Отправным пунктом теоретического и исторического анализа проблемы, несомненно, должна служить 47-я глава III тома «Капитала» К. Маркса — непревзойденный образец историко-экономического исследования основных закономерностей эволюции феодальной ренты.

Но прежде чем обратиться к ней, необходимо сделать два предварительных замечания. Во-первых, следует подчеркнуть, что в основе марксистской концепции натурального характера феодальной экономики лежит не только характеристика «цели производства» (для «собственного потребления»), но и характеристика специфики феодального производственного отношения, одним из элементов которого является неполная собственность землевладельца на личность непосредственного производителя (в самых различных ее проявлениях), благодаря чему отношение эксплуатации — присвоение прибавочного продукта феодалом — опосредствуется не «меновым отношением» (куплей и продажей рабочей силы), а отношением личной зависимости между «собственником» и «несобственником» земли¹⁸. Именно этот элемент натурального хозяйства при феодализме остается непреходящим на протяжении всего средневековья. Следовательно, марксистское понимание «натурального хозяйства» отнюдь не исключает наличия товарно-денежных отношений в сфере обмена¹⁹.

Из только что сказанного вытекает второе замечание, суть которого сводится к следующему: /до тех пор пока феодальный способ производства остается господствующим, степень «товарности хозяйства» является лишь функцией эволюции феодального рентного отношения, но отнюдь не регулятором его и, тем более, не главным трансформирующим (разлагающим) его началом. В действительности подлинным антагонистом (с этой точки зрения) феодальной ренты является капиталистическая прибыль, но отнюдь не деньги как средство обращения, не «денежное хозяйство» как таковое²⁰.

Если мы в свете этих замечаний проанализируем концепцию кризиса феодализма XIV—XV вв. в ее различных вариантах и модификациях, то станет очевидным, что в лучшем случае она могла возникнуть вследствие явно одностороннего истолкования учения К. Маркса о денежной форме докапиталистической земельной ренты²¹. Иначе говоря, историки-марксисты много трудились над

историческим обоснованием того, что денежная рента является последней формой феодальной ренты, формой ее разложения. Однако при этом они почти оставили без внимания (и по существу не раскрытой до сих пор) вторую сторону этого положения Маркса, а именно, что денежная рента является вместе с тем высшей формой феодальной ренты, олицетворяющей на определенном этапе дальнейший прогресс феодального способа эксплуатации и открывающей для него новый простор и возможности роста и развития²², что эта форма ренты не только совместима с дальнейшим восходящим развитием феодальной формации, но на определенный исторический срок предвещает это развитие, олицетворяет его.

Переход от отработочной ренты к денежной означал не просто смену вещественной формы прибавочного труда земледельца, присваиваемого безвозмездно классом феодалов, а перестройку всего феодального производства и воспроизводства, рубеж между двумя качественно отличными этапами в развитии феодального общества²³.

Для того, чтобы значение этого рубежа стало очевидным, необходимо не упускать из виду ряд специфических особенностей, присущих феодальному общественному строю и отличающих его как от предшествовавшей, так и от последовавшей за ним антагонистических формаций.

Если отвлечься от хорошо известных особенностей феодальной собственности²⁴ и обусловленной ими роли внеэкономического принуждения, то окажется, во-первых, что феодальная форма поземельной собственности в отличие от современной буржуазной частной собственности подвержена значительной эволюции, и не только в смысле структуры ее, но — что гораздо важнее — с точки зрения ее социальной и, следовательно, юридической природы. Эта собственность (в отличие от римско-правового *jus utendi et abutendi*) оказывается весьма пластичной, отливаясь каждый раз в новые формы в соответствии с новыми общественными условиями ее реализации. Во-вторых, именно потому, что органической составной частью этой собственности являлась та или иная форма внеэкономического принуждения и личная зависимость характеризует общественные отношения материального производства, отношения собственности неизбежно принимают политическую окраску.

В результате ни в одном другом антагонистическом обществе изменение в формах собственности не оказывает столь большого влияния на изменение политической структуры общества.

Далее, в марксистских аграрно-исторических исследованиях до сих пор прослеживалась почти исключительно одна линия анализа эволюции рентного отношения, а именно социально-экономические последствия смены форм феодальной ренты. Но при этом, как представляется, упускается из виду другое направление анализа того же рентного отношения: периодизация феодализма в зависимости от того, где производился прибавочный продукт — в хозяйстве сеньора или в хозяйстве зависимого от него держателя-земледельца²⁵. Ведь очевидно, что форма ренты является фактом вторичным и производным от места ее производства. Исходя из этого критерия, развитие сложившегося, зрелого феодального общества можно подразделить на две стадии или на два периода: первый период — сеньориальный (точнее — домениальный), так как полем приложения прибавочного труда является господский домен — центр сеньории; конец этого периода можно было бы датировать распространением цензивы во Франции и копигольда в Англии. Второй период — парцеллярно-крестьянский, так как крестьянский надел становится с этих пор полем приложения не только необходимого, но и прибавочного труда земледельца. Начало этого периода датируется крушением системы домениального хозяйства. Нам представляется, что для стран так называемой «старой сеньории» указанная периодизация при всей условности в названии отмеченных выше стадий открывает перед исследователем значительные (до сих пор совершенно не использованные) познавательные возможности, ибо она в каждом случае сосредоточивает наше внимание прежде всего на фактах феодального производства, а не только распределения произведенного. Поскольку первая из указанных стадий совпадает в основном с господством отработочной ренты, а вторая — с распространением ренты продуктовой, и прежде всего денежной ренты, то очевидно, что критерий «места производства» прибавочного продукта отражает решающий рубеж между двумя поступательными и исторически последовательными этапами феодальной эволюции.

Сеньориальная (домениальная) стадия западноевропейского феодализма хронологически лежит за пределами данной работы. Здесь же важно только подчеркнуть, что из двух основных элементов, составляющих феодальную собственность, — земля и в большей или меньшей мере ее возделыватель²⁶, — в этот период наибольшее значение для анализа способа производства имеет второй элемент — «собственность» на личность непосредственного производителя. С этим связан не только институт серважа, но и наличие в руках сеньора целой системы средств внеэкономического принуждения по отношению ко всей массе держателей, рассматриваемых как подданных сеньории²⁷. В соответствии с этим из двух частей вотчины — «домен» и «земля держаний» — экономически доминирующая и регулирующая роль принадлежит первому. Хозяйство землевладельца играет подчиненную и служебную роль. Оно — придаток барского двора по своей производственной функции.

Может вызвать недоумение: каким образом именно в условиях господства этой самой грубой формы феодальной эксплуатации средневековое общество сделало наибольший скачок в развитии производительных сил (на базе феодальных отношений производства) и был достигнут более высокий экономический и производственный уровень хозяйства непосредственного производителя? Объяснением может служить лишь следующее: это случилось именно в силу господства самой простой, по определению Маркса, самой примитивной и очевидной формы феодальной ренты, которая в тех исторических условиях заключала в себе наибольшие потенции развития материального производства. Во-первых, необходимый и прибавочный труд при этой форме ренты разделен во времени и пространстве, что позволило достигнуть высокой степени освобождения необходимого рабочего времени. Следовательно, достигается максимальное напряжение трудовых усилий земледельца в это время. Во-вторых господствующая в этот период система держаний с ее принудительно поддерживаемой неделимостью дворов и неподвижностью структуры самих держаний создает такую степень относительного перенаселения вотчины «избыточным населением», что последнее оказывается в конечном счете важным фактором в прогрессе производительных сил земледелия (внутренняя колонизация).

С этим связан и отрыв от земледелия значительной массы населения и переход его на рельсы «городской» экономики. Таким образом, господство барщинной системы содействует не только созданию избыточной товарной массы сельскохозяйственных продуктов, но и возникновению потребителя этих продуктов — неземледельческого населения. Тем же относительным перенаселением вотчины был вызван, с одной стороны, земельный голод в районах старой земледельческой культуры, а с другой, им же объясняется самая возможность расчисток и распашки нови на огромных пространствах — этого поистине трудового подвига средневекового крестьянства.

Конечно, основой основ указанных процессов являлся рост производительности труда земледельца, достигнутый почти исключительно в его собственном хозяйстве. Следует только не забывать, что исторически он стал возможным только на базе системы отработочной ренты, являвшейся до поры до времени важным фактором в развитии материального производства средневековья. К этому следует добавить, что именно отработочная рента в тех условиях гарантировала земледельцу наибольшие возможности *повседневного* сопротивления феодальной эксплуатации. Отсюда становится понятным, почему при господстве этой наиболее откровенной и наиболее грубой, казалось бы, формы принуждения не происходило таких массовых крестьянских восстаний, какие наблюдаются в последующий период.

Однако на определенной ступени развития товарно-денежных отношений сеньория как воплощение хозяйственной организации феодализма и центр производства прибавочного продукта становится для господствующего класса экономически невыгодной. Ссылкой на большую производительность наемного труда по сравнению с трудом барщинным чаще всего объясняют причину коммутации отработочных повинностей. В данном случае перед нами типичный пример чисто умозрительного суждения нашего современника о прошлом, ибо если бы поместное хозяйство было способно в своей массе перейти к наемному труду (в современном смысле), то феодальной системе как таковой пришел бы конец очень рано. Но в том-то и дело, что оно по своей сущности на это не способно, и именно потому вышеуказанное «объяснение» ничего в действительности не объясняет. На самом же

деле невыгодность барщинной системы в тех исторических условиях заключалась в том, что она уже не обеспечивала извлечения в пользу земельного собственника всей массы прибавочного продукта, произведенного земледельцем, так как часть этого продукта, не изъятая у держателя в виде ренты, присваивалась им в качестве «эмбриональной прибыли». Отсюда самостоятельное развитие имущества и, говоря относительно, богатства у обязанных барщиной или крепостных²⁸. Именно этим объяснялась прежде всего «нерентабельность» доменiallyного хозяйства для сеньора.

В свете данного положения правомерно заключить, что переход к каждой следующей форме ренты прежде всего преследует цель создать более эффективный механизм извлечения у крестьянина возраставшей массы прибавочного продукта в виде ренты его сеньору. Следовательно, цель перехода к денежной ренте — резко повысить норму феодальной эксплуатации. Это целенаправленная попытка создать не только более густую, но и более обширную и всеобъемлющую сеть, расставленную сеньорией на путях циркуляции избыточного продукта крестьянского труда. В этом заключается основное экономическое содержание процесса коммутации отработанных повинностей. Денежной рентой создается возможность эксплуатации сеньором товарно-денежных отношений, или, точнее, рыночных связей крестьянского хозяйства, как и доходов той части сельского населения, которая остается вне надельной системы.

Однако переход к продуктовой и денежной ренте имел далеко идущие последствия для всей системы феодального присвоения: он не только вызвал глубокую перестройку сеньории, определив появление принципиально нового типа ее — так называемого «чистого земельного верховенства», но обусловил перестройку самих форм феодальной эксплуатации в силу того, что сеньория постепенно теряла контроль над производительными ресурсами крестьянского двора. Менялась не только структура вотчины в связи с сокращением и ликвидацией доменiallyного хозяйства, но стало явным то, что было скрыто в предшествующую эпоху, — абсолютное преобладание и решающее значение мелкого крестьянского хозяйства.

Еще более важным результатом этих сдвигов была дальнейшая эволюция самой природы феодальной собст-

венности: исчез постепенно один из двух ее составных элементов — личная крепость непосредственного производителя. И хотя вместо нее появились другие формы несвободы, тем не менее экономически это означало прекращение повинностей (например связанных с серважем), которые в предшествующую эпоху рассматривались как основа сеньориальной власти. Далее, возникшая необходимость в «концентрированном насилии» со стороны центральной власти (вместо непосредственного и прямого принуждения со стороны сеньориальной власти) привела к потере последней значительной части прежнего политического суверенитета. Иными словами, институт сеньории все больше и больше утрачивал былую политическую окраску, сеньориальные отношения все больше сводились к поземельным отношениям. В конечном итоге феодальная собственность, рассматриваемая сквозь призму сеньории, либо сводилась и реализовывалась для сеньора в виде так называемых реальных повинностей, либо расплывалась на составные части, которые расплывались среди ряда ее собственников — получателей отдельных частей ренты (сеньоры поземельные, личные, судебные и др.)²⁹.

Таким образом, социально-экономические процессы XIV—XV вв., названные «кризисом феодализма», в действительности олицетворяли собой лишь кризис старой сеньории, или, точнее, кризис и разложение сеньориальной фазы феодальной эксплуатации, оказавшейся неадекватной требованиям и возможностям феодальной эксплуатации в новых экономических условиях³⁰. Что же касается феодализма как общественно-экономической формации, то с переходом к денежной форме феодальной ренты он вступил в новую, более высокую фазу своего развития, обусловленную развитием товарного производства. Продуктовая, а тем более денежная рента характеризуются К. Марксом как несравнимо более высокие, более развитые формы ренты по сравнению с рентой отработочной³¹. Это вытекает из того решающего экономического факта, что с превращением крестьянского хозяйства в единственный центр производства прибавочного продукта из-под прямого принуждения и надзора сеньора освобождается все рабочее время земледельца. Слияние «прибавочного производства» и «необходимого производства», иными словами, труда производителя на самого себя и его труда на земельного собственника в еди-

ном крестьянском хозяйстве, привело к тому, что эти прежде коренным образом отличные по своей производительной потенции виды труда земледельца «уже не отделяются осязательно во времени и пространстве»³². Подгоняемый «силой отношений», земледелец теперь трудится одинаково производительно на протяжении всего своего рабочего времени. В этом основное отличие новой стадии феодализма, позволяющее усмотреть в ней не только упадок и разложение, а новую ступень в развитии данной формации.

Главной характерной чертой ее была повсеместная экономическая победа крестьянского хозяйства над хозяйством доменальным и фактическое укрепление крестьянского землевладения (цензивы — во Франции, копигольда — в Англии, крестьянского лена — в Германии)³³. По мысли К. Маркса, неоднократно им подчеркивавшейся, именно в эту пору западноевропейский феодализм приобретает наиболее типические для него черты. В 24-й главе I тома «Капитала» К. Маркс писал: «Во всех странах Европы феодальное производство характеризуется разделением земли между возможно большим количеством вассально-зависимых людей»³⁴. Далее он подчеркивает, что еще в нормандскую эпоху Англия «была усеяна мелкими хозяйствами. Таким образом, если не доменальное хозяйство, а мелкое крестьянское хозяйство воплощает наиболее характерную черту феодального производства, то очевидно, что не XI—XIII, а XIV—XV вв. представляли пору его действительного расцвета. Если истинно положение о том, что основой феодального хозяйства является крестьянский двор, то не приходится сомневаться в том, что эта основа в огромной степени расширилась и укрепилась именно в XIV—XV столетиях.

В этой связи особое познавательное значение приобретает известное высказывание Маркса: «Япония с ее чисто феодальной организацией землевладения и с ее широко развитым мелкокрестьянским хозяйством дает гораздо более верную картину европейского средневековья, чем все наши исторические книги...»³⁵. Но поскольку подобного рода организации землевладения Западная Европа достигла лишь в XIV—XV вв., с исчезновением доменального хозяйства, то остается заключить, что именно в эти века страны Западной Европы достигли «чисто

феодальной организации землевладения, когда крупная феодальная собственность наиболее полно сочетается с развитием мелкого крестьянского хозяйства. Марксово истолкование феодального способа производства позволяет, таким образом, определить в качестве классической его стадии пору полного возобладания мелкокрестьянской земледельческой культуры на чужой, несвободной земле. Эта стадия, как известно, была достигнута в XIV—XV вв. Базисом ее, как и при доменальной стадии, оставалась земельная монополия феодалов. Однако отношение эксплуатации все более принимало «реальный», вещный характер, рента вместо всеобъемлющего и нерасчлененного комплекса платежей теперь сводилась главным образом к земельной ренте (Grundrente), регулируемой договором³⁶.

Экономическое укрепление крестьянского хозяйства имело своим естественным результатом и определенное юридическое укрепление крестьянского землепользования, получившего постепенное признание прежде всего в обычном праве (кутюмах). Именно в эту пору мелкое крестьянское хозяйство и юридическая форма крестьянского землевладения достигали максимально возможного при феодализме соответствия, наиболее полно приближались, по выражению К. Маркса, к «самой нормальной форме» земельной собственности, необходимой для мелкого производства. «Таковы, — подчеркивал он, — йомены в Англии, крестьянское сословие в Швеции, французское и западногерманское крестьянство»³⁷. Вот почему эту стадию феодализма, когда крестьянское хозяйство не только уже зримо выступает как экономическое основание общества, но и становится единственной «нормальной формой» феодального производства, правомернее всего считать временем высшего подъема последнего, фазой, подготавливающей предпосылки для его общего кризиса в XVI—XVIII вв.

Однако нет ли здесь противоречия между тезисом, что западноевропейский феодализм, рассматриваемый как способ производства, достигает лишь в XIV—XV вв. классически выраженных черт, которые, по мнению К. Маркса, характеризуются «разделением земли между возможно большим количеством вассально зависимых людей»³⁸, и положением, согласно которому денежная рента, ставшая господствующей именно в этот период,

«есть в то же время форма разложения рассматривавшейся до сих пор земельной ренты...»? ³⁹ Самое пристрастное сопоставление приведенных утверждений убеждает, что противоречий между ними нет. Эти положения вообще разноплановые, ибо в первом случае речь идет о статической картине феодального строя поземельных отношений, тогда как во втором случае говорится о динамике этих отношений, об их исторической перспективе.

В самом деле, трудно сказать, откуда взялось мнение, будто разложение феодальной земельной ренты начинается тотчас же с коммутацией барщины денежной рентой. У К. Маркса отчетливо проводится мысль совершенно отличная, а именно, что разложение этой формы ренты становится фактом лишь с возникновением капиталистического уклада.

Рассмотрим более пристально, что К. Маркс понимает под разложением феодальной земельной ренты. Как известно, он усматривает последнее в низведении этой ренты «от нормальной формы прибавочной стоимости и прибавочного труда... до избытка этого прибавочного труда...» ⁴⁰ над средней нормой прибыли, присваиваемой капиталистом, т. е. условия, при которых вместо ренты прибыль становится нормальной формой прибавочной стоимости ⁴¹, а рента оказывается лишь «добавочной прибылью» ⁴², выплачиваемой земельному собственнику. Иначе говоря, процесс разложения феодальной земельной ренты есть в то же время процесс вытеснения средневекового, традиционного держателя капиталистическими арендаторами, чем обуславливалось превращение феодальной земельной ренты в ренту капиталистическую, либо выкупа крестьянином своего оброчного обязательства (впрочем, последнее достигалось лишь мизерной долей зависимых держателей).

К. Маркс указывал, что только в своем «дальнейшем развитии денежная рента необходимо приводит... или к превращению земли в свободную крестьянскую собственность или к форме капиталистического способа производства, к ренте, уплачиваемой капиталистическим арендатором» ⁴³, что, в свою очередь, предполагает переворот в отношениях земельной собственности. Между тем хорошо известно, что даже в Англии в XV в. капиталистическая аренда была спорадическим явлением. Еще более спорадическим было превращение обычного держания зем-

ледельца во фригольд. Огромное большинство населения страны, подчеркивал К. Маркс, состояло из «свободных крестьян, ведущих самостоятельное хозяйство, за какими бы феодальными вывесками ни скрывалась их собственность» ⁴⁴.

Таким образом, по мнению К. Маркса, в Англии XV в. продолжали существовать все условия, при которых денежная рента еще целиком сохраняет свою феодальную природу, т. е. форму земельной ренты, как нормальной и господствующей формы прибавочной стоимости. И если нужны еще иные доказательства в пользу именно такой интерпретации концепции денежной ренты К. Маркса, то нелишним будет сослаться на следующее положение, из той же 24-й главы I тома «Капитала»: «Такие отношения (т. е. абсолютное преобладание мелкого крестьянского хозяйства.— М. Б.) при одновременном расцвете городской жизни, характерном для XV столетия, создали возможность того народного богатства, которое с таким красноречием описывает канцлер Фортескью..., но эти отношения исключали возможность капиталистического богатства» ⁴⁵.

Не правомерно ли будет допустить, что этот тезис К. Маркса отражает положение вещей и в странах по другую сторону Ла-Манша?

Итак, речь идет вовсе не о том, чтобы признать отношение оброчника XIV—XV вв. к земельному собственнику феодальным отношением (это нечто само собою разумеющееся), и даже не о том, чтобы признать исторически прогрессивный характер денежной ренты по сравнению с предшествующими ее формами (это тоже слишком очевидно). Из вышеизложенного вытекает вывод, что с переходом к денежной ренте феодальная форма вступает в *высшую фазу своего развития*, которая только с возникновением капиталистического уклада в Западной Европе становится фазой разложения феодализма. Прогресс феодального способа производства при денежной форме ренты заключается прежде всего в том, что с ней связано громадное расширение возможностей феодальной эксплуатации. Рамки феодальной ренты раздвигаются настолько, что рента, получавшаяся непосредственно сеньором, представляется теперь лишь частью последней, постепенно оттесняемой на задний план другими ее составными частями.

С этой точки зрения крестьянско-парцеллярная фаза феодального производства делится, в свою очередь, на два этапа. На первом из них — XIV—XV вв. — благодаря фиксации сеньориальных повинностей в денежных (номинальных) единицах, с одной стороны, и неуклонному обесценению этих единиц, с другой стороны, образуется заметный разрыв (по крайней мере, у зажиточной части крестьянства) между общим объемом произведенного крестьянином избыточного продукта и той его частью, которая присваивалась земельным собственником в виде ренты.

Этот разрыв является экономическим выражением факта возникновения (под феодальными вывесками) крестьянско-парцеллярной формы землевладения, образовавшейся в процессе разложения сеньориальной формы феодальной собственности.

Иначе говоря, все еще оставаясь «нормальной и господствующей формой прибавочной стоимости», феодальная рента на этом этапе фактически низводится экономическими условиями до части доли этой стоимости. Этот кардинальный экономический факт, несомненно, свидетельствовал бы о разложении феодальной ренты, если бы развитие последней на этом остановилось. Но поскольку этого не случилось, так как феодальная эксплуатация вскоре не только преодолела кризис, но и достигла небывалых ранее размеров, то указанный выше разрыв в действительности означал лишь факт разложения прежней формы данной ренты, которую мы условно назовем сеньориальной формой. Таким же признаком ее разложения явилось вторжение в деревню ростовщического капитала, который в виде процентов захватывал в свои руки часть избыточного продукта, ранее присваивавшаяся сеньорией.

Наконец, третьим признаком ее разложения было распыление крестьянских повинностей между рядом получателей разновеликих ее частей в силу распыления различных феодальных прав, прежде сосредоточенных в руках сеньора.

Второй этап истории денежной ренты характеризуется тем, что над сеньориальной формой ренты надстраивается централизованная ее форма, главным образом в виде государственных налогов, пошлин и сборов⁴⁶. При анализе исторических закономерностей денежной ренты

обычно лишь словесно признают налоговую систему (в широком смысле, включая судебные штрафы, дорожные и рыночные пошлины и т. д.) феодального государства формой эксплуатации прежде всего крестьянства, но, как правило, не включают ее в состав феодальной ренты в собственном смысле слова. Между тем в формах ренты, присваиваемых носителем политического суверенитета, следует усматривать олицетворение исторического развития феодальной ренты как таковой. И это более чем правомерно потому, что суверенитет в ту эпоху есть лишь в большей или меньшей мере выражение, иносказание титула верховной собственности. С этой точки зрения образование в Западной Европе централизованных государств означало не только возникновение новой формы государственности, но и определенную эволюцию формы феодальной собственности.

В данной связи замечание К. Маркса о приближении формы феодального производства в Западной Европе XIV—XV вв. к классически-японскому, т. е. мелкокрестьянскому, образцу⁴⁷ приобретает глубокий познавательный смысл. Оно означает, что в указанные столетия произошел сдвиг и в формах поземельной собственности, выразившийся в том, что над сеньориальными ее формами надстраивается титул собственности носителя политического суверенитета. В процессе централизации обычно подчеркивают роль третьего, «нефеодального» сословия. Между тем образование централизованных государств диктовалось теперь не только политическими, но и экономическими интересами самого класса феодалов, и достижение этой цели было возможно при условии уступки суверену известной доли того титула собственности, который ранее принадлежал отдельно сеньору. Очевидно, что речь идет лишь об определенном приближении юридической природы феодальной собственности позднесредневековой Западной Европы к формам этой собственности в странах Востока. Только с усилением экономической роли феодального государства, превращающегося в регулирующее начало всей экономической жизни страны, феодальная эксплуатация в действительности стала всеобъемлющей, охватив своими щупальцами все сферы труда, производства и обмена, что было связано с сосредоточением в руках суверена не только значительного

фонда домениальных земель, но и прав верховной собственности по отношению ко всей территории страны.

Не требуется доказывать, что по своей природе этот суверенитет воплощал лишь новую форму феодальной собственности.

Итак, торжество денежной ренты не только обусловило разложение сеньориальных форм феодального присвоения, но имело своим результатом конституирование новых централизованных форм ренты, что отражало глубокие сдвиги в формах феодальной эксплуатации. Если в сеньориальную фазу феодализма крупная земельная собственность неизбежно содержала в себе больший или меньший элемент политического суверенитета, то в позднее средневековье отношение становится обратным: политический суверенитет неизбежно принимал характер верховной земельной собственности. Точно так же, как держатели сеньории превратились в подданных короля, земля сеньории стала частью территории королевства, землей короля.

Именно таково содержание понятия «домен короля» во Франции. В Англии этот факт был юридически еще более ярко выражен⁴⁸⁻⁴⁹.

Следовательно, именно в пору, когда собственность отдельно взятых сеньоров больше всего приближается к «гражданской», «частноправовой» ее форме, феодальная рента все более принимает публичноправовой характер. В этом противоречии заключен «движущий мотив» социальной истории позднего средневековья.

Поскольку именно с помощью централизованных форм ренты не только ликвидируется разрыв между размером избыточного продукта крестьянского хозяйства и сеньориальными повинностями последнего, но и извлекается из него нередко часть необходимого продукта, то легко себе представить, насколько усилилась вся система феодальной эксплуатации по мере дополнения сеньориальных рент централизованными формами феодального присвоения. Убедительное свидетельство этому мы находим в трактате английского канцлера XV в. Фортескью. Посетив Францию в 1465 г., он впоследствии заметил: «На каждый эку, что они (т. е. крестьяне.— М. Б.) платят сеньору за свои держания..., они уплачивают королю 5 эку»⁵⁰.

Даже одного такого примера достаточно для того, чтобы убедиться, какие возможности для увеличения мас-

сы феодальной ренты открываются в связи с переходом к денежной ее форме, а следовательно, насколько ошибочно говорить о «разложении феодальной ренты» чуть ли не с XIII в. Наоборот, утверждение денежной ренты в Западной Европе означало, по мысли К. Маркса, качественный скачок всей системы феодальной эксплуатации от примитивных ее форм к более развитым. Именно благодаря этому феодальный порядок укрепился еще на ряд столетий, началась новая фаза его развития, связанная с торжеством крестьянско-парцеллярной формы хозяйства.

Как уже говорилось, до сих пор историки отмечали лишь «разрушительную силу» денежной ренты для феодального строя поземельных отношений. Однако при этом они прошли по существу мимо созидательной роли этой формы ренты в истории западноевропейского феодализма. На базе денежной ренты происходит в XIV—XV вв. вторичная регенерация феодальных отношений, воссоздание новых форм этих отношений. Так, возникает новая форма феодальной вотчины, отличающаяся от классической феодальной вотчины и своим происхождением (главным образом путем приобретений), и своей структурой (мозаичность, разбросанность, сложное переплетение прав и землевладения и т. д.), и формой утилизации феодальных прав (главным образом денежно-договорная).

Именно на базе денежной ренты возникают и крестьянские держания второй генерации, отличающиеся в значительной степени теми же чертами, которыми отмечена и сама вотчина второй генерации. Это «возрождение» западноевропейского феодализма, давно уже известное под термином «рефеодализации», до сих пор еще не подвергнуто надлежащему изучению ни в одной из стран Западной Европы.

Перед нами по существу огромное поле для исследовательских работ, методологическое значение которых полностью выявилось лишь в ходе дискуссии о так называемом «кризисе» феодализма.

Следовательно, XIV—XV века, которые многие интерпретаторы денежной ренты рассматривают как время кризиса и разложения феодализма, в действительности являлись переходом к более высокой его стадии, достигшей кульминации с возникновением централизованных, абсо-

лютистских государств, ибо только при этих условиях сеньориальные ренты низводятся до части феодальной ренты, вместо того чтобы быть ее нормальной формой, ее основным воплощением. Очевидно, что и в данном случае природа указанной ренты феодальная, ибо ее базисом и на этой стадии остается земельная собственность, противостоящая земледельцу как несвободная, обремененная, чужая собственность. Только на этой стадии развития денежной ренты создаются условия разложения феодализма.

Из вышесказанного очевидно, что нельзя отождествлять для позднего средневековья эволюцию земельной ренты, выплачивавшейся номинальному собственнику земли — сеньору, с эволюцией феодальной ренты в целом⁵¹. Иначе мы совершенно не в состоянии будем даже приблизиться к ответу на вопрос о начале «нисходящей» стадии западноевропейского феодализма.

В самом деле, если в отношении Англии начало разложения феодальной ренты зримо отмечено началом аграрной революции, т. е. массовой экспроприацией йоменри, с одной стороны, и развитием капиталистической аренды — с другой, то для Франции этот рубеж далеко не столь ясен, ибо нельзя устанавливать его, исходя из фактов, почерпнутых вне сферы производства, и прежде всего поземельных отношений (данные об объеме внутреннего и внешнего обмена сами по себе, с этой точки зрения, мало о чем говорят, по крайней мере, до тех пор, пока землевладение определяет не только экономику, но и социальную структуру общества). Между тем именно в XV в. во Франции происходит юридическое укрепление поземельных прав цензитария, иными словами, базис сеньориальной денежной ренты⁵² расплывается, но вопрос заключается в том, в какой степени сеньориальная и совокупная феодальная ренты здесь совпадают.

Наконец, было бы неправильно считать, что вне нашего поля зрения до сих пор оставались те разрушительные для судеб парцеллярно-крестьянского хозяйства импульсы, которые исходили из города. Но такова была логика самой истории. Ибо представляется очевидным, что только тогда, когда в городе зарождается капиталистический уклад, он способен в соответствии с потребностями последнего трансформировать и аграрные отношения. Пока же город базируется на средневековом строе ремесла, ни-

какие успехи «денежного хозяйства», отмечаемые в нем, не могут служить основанием для суждения о направлении аграрного развития той или иной страны.

Ростовщичество, несомненно, подрывает жизненные силы крестьянского хозяйства, но вместе с тем оно и консервирует последнее, ухудшая лишь условия его воспроизводства. Пример «взаимодействия» между французским городом и деревней в «заклучительные века» средневековья служит этому лучшим доказательством. Сверхцензы, воплощавшие ростовщические проценты, стали таким же дополнением к сеньориальной ренте, как и фискальные поборы.

Следовательно, для ответа на вопрос о начале «нисходящей» стадии феодализма в Западной Европе необходимо сосредоточить внимание на эволюции экономического содержания феодального (в широком смысле слова, а не только сеньориального) рентного отношения, иными словами, на том, насколько последнее обеспечивает воспроизводство крестьянского двора, крестьянского хозяйства как формы самостоятельного производства на фактически (и в обычном праве, и юридически) принадлежащей земледельцу земле⁵³. Эти пределы эксплуатации зависимого парцеллярного хозяйства должны служить для исследователя основными вехами при периодизации экономической эволюции средневекового общества в целом.

Такой подход к анализу материала, накопленного в ходе дискуссии, ни в коей мере не затрагивает основ марксистской периодизации средневековой истории. И если создатели концепции «кризиса XIV—XV вв.» надеялись выдвинуть некий противовес этой периодизации или даже подорвать ее основы, то их постигла явная неудача. Иначе и быть не могло.

Трудность проблемы «кризиса XIV—XV вв.» заключается в том, что он представляет собой сложный исторический феномен — огромный социальный сдвиг, совершающийся на почве феодального способа производства ценой временных кризисных явлений феодальной экономики.

Изображение этого диалектического процесса обедняется, суживается и теми, кто рассматривает его рыночную форму проявления как решающий критерий для оценки направления исторического развития, и теми

(хотя и не в такой степени), кто отмечает лишь его социальное содержание, отвлекаясь от этой формы.

Марксистское понимание периода восходящего развития феодальной формации вовсе не исключает возможности временного застоя или даже упадка. Однако эти перерывы и зигзаги в эволюции хозяйства, рассматриваемого к тому же крайне односторонне — с точки зрения его «товарности», не снимают основной и общей тенденции социального прогресса. Важно лишь определить, что именно приходит в данный период в упадок, сказывающийся в сокращении товарного производства, и как этот упадок отражается на тех элементах общества, которые служат истинным базисом его поступательного развития.

* * *

Итак, «кризис XIV—XV вв.» без дальнейших определений — понятие в научном смысле бесплодное. Если иметь в виду исторические явления в различных сферах общественной жизни, то есть достаточно оснований говорить о «кризисе» во множественном лице, т. е. о кризисах самых разнородных, то совпадающих, то расходящихся во времени. Но задача заключается в том, чтобы установить общую подоснову этих явлений, тот фундаментальный исторический процесс, который, хотя и проявляется столь разнородно, тем не менее, отличается внутренним единством.

Если же изучение ограничивается только выявлением факторов, обусловивших тот или иной частный кризис (демографический или денежный, торговый или политический), то целостность процесса исчезает, теряется. Ибо каким образом, в самом деле, можно связать, к примеру, демографический спад и конституционный кризис, денежный кризис и усобицу между двумя кликами феодалов?

Наконец, если под «общим кризисом» подразумевать простое стечение ряда неблагоприятных (с точки зрения так называемого экономического роста) обстоятельств, более или менее случайных по отношению друг к другу, то XIV—XV вв. окажутся временем отнюдь не уникальным. Можно, в частности, указать на XVII в., который характеризуется сочетанием ряда «кризисов» (демографического и торгового, военного и внутривластного),

причем в гораздо более универсальном, общеевропейском смысле.

Следует признать, что от того, что мы назовем ситуацией XVII в. кризисом (в западной историографии этот термин уже получил право гражданства), как это сделано в отношении XIV—XV вв., наше понимание специфики, а главное — подосновы, обусловившей эти ситуации, не продвинется ни на шаг.

Марксистское понимание термина «кризис» в общеисторическом смысле наполняет его формационным значением. Именно поэтому он применим только для характеристики двух ситуаций: а) противоречивого состояния классового общества, связанного с его переходом на следующую ступень формационного развития. В этом случае речь, очевидно, идет о внутрiformационном кризисе, т. е. о кризисе связанного еще с фазой восходящего развития данного формационного отношения (системообразующего производственного отношения); б) состояния общества, связанного с изживанием, разложением данного отношения, т. е. с переходом от одной формации к другой. В этом случае речь идет о межформационном кризисе, об эпохе смены формаций.

Применительно к XIV—XV вв. мы усматривали подоснову всех разнородных, частного характера «кризисов» в кризисе сеньориальных форм феодальной ренты, поскольку речь идет о «классической» домениальной сеньории. отождествлять этот кризис с кризисом феодализма как способа производства значит упустить из виду целую стадию в развитии этой формации, а именно — высшую ее стадию, связанную с превращением крестьянского хозяйства в центр производства не только необходимого, но и прибавочного продукта.

Именно этим была создана возможность для возникновения сеньории нового типа — сеньории территориальной, основанной в большей или меньшей степени на публично-правовых основаниях, централизованной формы ренты в виде государственных (королевских, княжеских) налогов, пошлин, сборов.

И еще одно замечание. Дискуссия о восходящей и нисходящей стадиях феодализма оставила в тени самый важный вопрос: на какой стадии — восходящей или нисходящей — норма феодальной эксплуатации достигает вершины, исторического максимума?

Высшая точка находит свое воплощение не в частновотчинных, а в централизованных — во всяком случае, публичноправовых (по юридическим основаниям) — формах ренты. Из этой закономерности «выпадают» два случая: во-первых, когда в стране создаются условия для развития капиталистической аренды (а следовательно, и капиталистической ренты), во-вторых, когда в стране торжествует феодальная реакция типа «второго издания крепостничества». В обоих случаях частновотчинные формы ренты остаются экономически господствующими над ее централизованными формами. Однако хронологически оба эти варианта развития лежат уже за пределами интересующего нас периода.

ПРИМЕЧАНИЯ

Введение

- ¹ В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 18, стр. 364.
- ² См. *Varietis in History*. Ed. by A. Stern. New York, 1960.
- ³ F. Braudel. *Histoire et sciences sociales.*— «Annales. E. S. C.», 1958, oct.
- ⁴ G. Barraclough. *History in a Changing World*. Oxford, 1957.
- ⁵ D. Potter. *Explicit Data and Implicit Assumptions*. In: *Generalisations in History*. Ed. by L. Gottschalk. Chicago, 1963.
- ⁶ O. Anderle. *Theoretische Geschichte.*— «Historische Zeitschrift», 1958, Bd. 185.
- ⁷ P. Lebrun. *Structure et quantification.*— «Revue de l'institut de sociologie», 1963, № 4.
- ⁸ «Sociology and History». Ed. by W. Canmann and A. Boskoff. New York, 1964.
- ⁹ См. C. Antoni. *Vom Historismus zur Sociologie*. Übers. von W. Goetz. Stuttgart, 1953.
- ¹⁰ K. Heussi. *Die Krisis des Historismus*. Tübingen, 1932.
- ¹¹ См. E. Troeltsch. *Der Historismus und seine Probleme*. Tübingen. 1922.
- ¹² Как справедливо заметил американский социолог Г. Уизи,

«ни одна наука никогда не находилась в столь глубокой зависимости от политических целей, как наука историческая». См. H. Wihy. *What is the point of History.*— «Journal of Contemporary History», 1968, v. 3, № 2, p. 13.

- ¹³ См., например, специальный номер: «Journal of Contemporary History», 1968, v. 3, № 2.
- ¹⁴ Ibid., p. 5; «History and Sociology». Ed. by B. Hofstadter and L. Lipset. New York, 1968, p. 5.
- ¹⁵ Th. Schieder. *Strukturen und Persönlichkeiten in der Geschichte.*— «Historische Zeitschrift», 1962, Bd. 195, S. 277.
- ¹⁶ H. Berr. *La synthèse en histoire*. Paris, 1911. Под его редакцией начал издаваться журнал: «La Revue de Synthèse Historique».
- ¹⁷ M. Bloch. *Apologie pour l'histoire ou le métier d'historien*. Paris, 1949.
- ¹⁸ L. Febvre. *Combats pour l'histoire*. Paris, 1953.
- ¹⁹ M. Bloch. *Op. cit.*, p. 41, 114.
- ²⁰ F. Braudel. *Ecrits sur l'histoire*. Paris, 1969, p. 55.
- ²¹ «Sociology and History», p. 21.
- ²² L. Thrupp. *A Working Alliance among Specialists.*— «Inter-

- national Social Science Journal», 1965, v. 17, № 4, p. 654.
- ²³ См. «American History and Social Sciences», Glencoe, 1964, p. 9 sq.
- ²⁴ C. Bridenbaugh. The Great Mutation.— «American Historical Review», 1963, v. 68, № 2, p. 318; A. Schlesinger. A Humanist Looks at Empirical Social Research.— Ibid., 1962, v. 67, № 6, p. 768 sq.
- ²⁵ См., например, R. N. Bellah. Tokugawa Religion. New York, 1957; J. Goldthorpe. The Development of Social Policy in England 1800—1914. Washington, 1962; L. Benson. The Concept of Jacksonian Democracy. Princeton, 1961; N. Jacobs. The Origin of Modern Capitalism in Eastern Asia. Hongkong, 1958.
- ²⁶ G. Tundor. The Necessity of Historicism.— «American Political Science Review», 1961, v. 5, № 3.
- ²⁷ См. «American History and the Social Sciences», 1964.
- ²⁸ См. «Quantification».— «International Encyclopedia of Social Sciences» (1969).
- ²⁹ См. его доклад: «The Scientific Method and the Work of the Historian».— «Proceedings of 1960 International Congress». Ed. by E. Nagel et. a. Stanford, 1962.
- ³⁰ F. Braudel. Ecrits sur l'Histoire, p. 41—44.
- ³¹ J. Plumb. The Historians Dilemma.— «Crisis in the Humanities». London, 1964.
- ³² E. Pütz. Geschichtliche Strukturen.— «Historische Zeitschrift», 1964, Bd. 198, S. 245.
- ³³ Th. Schieder. Op. cit., S. 277.
- ³⁴ Ibidem.
- ³⁵ Cp. O. Anderle. Op. cit.
- ³⁶ E. Callot. Ambigüités et antinomies de l'histoire. Paris, 1962, p. 8.
- ³⁷ F. Braudel. Ecrits sur l'Histoire, p. 36 sq.
- ³⁸ Ibid., p. 54, 65. См. критику концепции длительного времени: Э. Сестран. История событий и история структур. М., 1970, стр. 11—12.
- ³⁹ G. G. Iggers. The Influence of Ranke in American and German Historical Thought.— «History and Theory», 1962, v. II, № 1.
- ⁴⁰ J. Huizinga. The Idea of History.— «Varieties in History», p. 291.
- ⁴¹ C. Bridenbaugh. Op. cit., p. 316 sq.
- ⁴² A. Schlesinger. Op. cit., p. 768.
- ⁴³ K. Popper. The Open Society and its Enemies, v. II, 1967, p. 259.
- ⁴⁴ См. «American History and Social Sciences», p. 5.
- ⁴⁵ Ibidem.
- ⁴⁶ Cp. «Theory and Practice in Historical Study».— «Social Science Research Council», Bul. 54. New York, 1946.
- ⁴⁷ D. Potter. Op. cit., p. 178 sq.
- ⁴⁸ The Limits of Behavioralism. Ed. by J. C. Charlesworth. Philadelphia, 1963, p. 17.
- ⁴⁹ Holt and J. E. Turner. The Methodology of Comparative Research. New York, 1970, p. 1 sq.
- ⁵⁰ D. Lerner. The Human Meaning of Social Sciences. New York, 1959, p. 14.
- ⁵¹ Mills. The Sociological Imagination. New York, 1959, ch. 2.
- ⁵² См. E. Pütz. Op. cit., S. 265.
- ⁵³ Э. Сестран. Указ. соч., стр. 10—11.
- ⁵⁴ Th. Schieder. Unterschiede zwischen historischer und sozialwissenschaftlicher Methode. Moskau, 1970, S. 5—6.
- ⁵⁵ J. A. Hexter. History. Social Sciences and Quantification (XIII Intern. Congr. of Hist. Science. Moscow, 1970).
- Commentaries on the Laws of England. London, 1765—1769; E. Littré. Dictionnaire de langue française. Paris, 1872.
- ² H. Boulainvilliers. Histoire de l'ancien gouvernement de la France, t. 1. La Haye, 1727.
- ³ G. Lefebvre. Les paysans du Nord pendant la Révolution Française, t. 1. Paris, 1924, p. 136.
- ⁴ В документе, датированном 1783 г., встречается следующее словупотребление: «Une féodalité des gros propriétaires campagnards qui peuvent spéculiers sur les ventes» (G. Lefebvre. Op. cit., p. 369).
- ⁵ Ch. Montesquieu. Esprit des Loix. Paris, 1883, XXX, 1.
- ⁶ Voltaire. Fragments Historique sur l'Inde.— Oeuvres complètes, t. XXIX. Paris, 1879, p. 91.
- ⁷ Джамбагиста Вико. Основания новой науки об общей природе наций. JL, 1940, стр. 443.
- ⁸ G. Arnoldi. Feodalismo et le uniformita nella Storia.— «Studi Medievali», 1963, fasc. 1.
- ⁹ O. Hintze. Wesen und Verbreitung des Feudalismus. Sonderdruck, 1929.
- ¹⁰ Ibid., S. 89.
- ¹¹ Ibid., S. 108.
- ¹² H. Mitteis. Lehnrecht und Staatsgewalt. Weimar, 1933; idem. Der Staat des Hohen Mittelalters. Weimar, 1940.
- ¹³ Известный немецкий историк середины XIX в. П. Рот писал: «Феодализм... в отличие от предшествовавшего ему и последовавшего за ним строя не знает никакой публичной власти... Это по существу не государство, а конгломерат...».
- ¹⁴ H. Mitteis. Die Rechtsidee in der Geschichte. In: «Gesammelte Abhandlungen». Weimar, 1927, S. 130.
- ¹⁵ M. Bloch. La société féodale, t. I. La formation des liens de dépendence. Paris, 1939; t. II. Les classes et le gouvernement des hommes. Paris, 1940.
- ¹⁶ При желании можно у Блока обнаружить значительные и неоднократные отступления от этой точки зрения, в которых он отдает дань правовой концепции феодализма. Однако важны не эти отступления, а весь строй исследования Блока, если мы действительно желаем уловить подлинно ценное зерно его видения феодализма.
- ¹⁷ M. Bloch. Op. cit., t. II, p. 244.
- ¹⁸ Ibid., p. 249—250.
- ¹⁹ H. A. Cronne. The Origin of Feudalism.— «History», 1939, v. 24, № 95.
- ²⁰ «Feudalism in History». Ed. by R. Coulborn. New-Jersey, 1956.
- ²¹ Ibid., p. 8.
- ²² Ibid., p. 3.
- ²³ Ibid., p. 4.
- ²⁴ Ibid., p. 7.
- ²⁵ O. Brunner. Feudalismus. Ein Beitrag zur Begriffsgeschichte.— «Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften und Litteratur. Mainz, 1958.
- ²⁶ K. Bosl. La société allemande moderne. Ses origines méliévales.— «Annales. E. S. C.», 1962, p. 851.
- ²⁷ F. Ganshof. Qu'est-ce que la féodalité. Bruxelles, 1857.
- ²⁸ F. M. Stenton. The First Century of English Feudalism. Oxford, 1932.
- ²⁹ C. Stephenson. The Origin and Significance of Feudalism.— «American Historical Review», 1941, v. 46, № 4; idem. Medieval Feudalism. New York, 1942.
- ³⁰ R. S. Hoyt. Feudal Institutions. New York, 1961.

Глава I

- ¹ В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 4, стр. 101.
- ^{1a} См. Reliquiae Spelmanianae. Oxford, 1698; W. Blackston.

Глава II

- ¹ В буржуазной историографии термин «сенюрия» многозначен. Он употребляется в политическом смысле—для обозначения власти герцогов, гра-

- фов, виконтов и др., превратившихся в период феодальной раздробленности в суверенов на местах (у них свои курии, суды, войско, финансы и т. д.). В феодально-правовом смысле этот термин употребляется для обозначения ленного верховенства над вотчиной (сюзеренитет). И наконец, в смысле социальном сеньория обозначает территорию непосредственного господства над поземельно и лично зависимыми крестьянами, т. е. вотчины как сельской сеньории. В данном случае имеется в виду сеньория только в последнем смысле.
- ² M. Bloch. La société féodale, t. I—II. Paris, 1939—1940; *idem*. Les caractères originaux de l'histoire rurale française. t. II. Paris, 1956; *idem*. Mélanges Historiques, v. 1—2. Paris, 1963.
- ³ A. Deleage. La vie rurale en Bourgogne jusqu'au début du XI siècle, t. I—III. Macon, 1941.
- ⁴ Библиографию см.: «Cambridge Economic History of Europe», v. 1, 2. Cambridge, 1966.
- ⁵ Эта тенденция отрыва истории агрикультуры от истории социальных отношений, истории крестьянства как класса отчетливо проявилась на X Международном конгрессе историков в Риме (в 1955 г.). Ср. недавно опубликованные работы: «Аграрная история Европы» Сликера ван Бата (1963) и «Аграрная история Германии» В. Абеля (1962). Помимо этих работ Сликера ван Бата и Абеля укажем на фундаментальную серию: «Agrarian History of England and Wales», v. V. Oxford, 1968.
- ⁶ «Agrarian History Review» — в Англии, «Etudes Rurales» — во Франции, «Zeitschrift für

Agrargeschichte und Agrarsoziologie» — в ФРГ.

- ⁷ J. Balon. Jus medii aevi, t. 1—2. Namur, 1960.
- ⁸ Ch. Perrin. Recherches sur la seigneurie rurale en Lorrain. Paris, 1935; *idem*. La seigneurie rurale en France et en Allemagne du début du XI-e siècle. à la fin du XII-e siècle. Paris, 1951—1953.
- ⁹ R. Boutruche. La seigneurie rurale en occident.—«IX-e Congrès International des Sciences Historiques». Paris, 1960, t. 1; *idem*. Seigneurie et Féodalité. Paris, 1959.
- ¹⁰ G. Duby. L'économie rurale et la vie des campagnes dans l'occident médiévale, v. 1—2. Paris, 1962.
- ¹¹ P. Latouche. Les origines de l'économie occidentale. Paris, 1956.
- ¹² Марксистская историография тщательно изучила эти процессы. См. работы А. И. Нусыхина и его учеников — М. Л. Абрамсон, А. Я. Гуревича, А. И. Данилова, Н. Ф. Колесниченко, А. П. Корсунского, А. Т. Мильской и др.
- ¹³ F. Lutge. Die mitteldeutsche Grundherrschaft. München, 1957; *idem*. Geschichte der deutschen Agrarverfassung. München, 1964.
- ¹⁴ A. Bergengruen. Adel und Grundherrschaft im Merovingereich. Wiesbaden, 1958.
- Глава III
- ¹ M. Nefbourg. Projet d'une enquête sur la noblesse française.—«Annales d'histoire Economique et Sociale», 1936, № 39.
- ² M. Bloch. Sur le passé de la noblesse française.—*Ibid.*, 1936, № 40.
- ³ P. Feuchère. La noblesse du Nord de la France.—«Annales. E. S. C.», 1959, № 3.

⁴ R. Boutruche. Seigneurie et Féodalité. Paris, 1959.

⁵ H. Dubled. Noblesse et Féodalité en Alsace du XI-e au XIII-e siècle.—«Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenes», 1960, v. 28.

⁶ E. Perroy. La noblesse de Pays-Bas — «Revue du Nord», 1961, t. 43; *idem*. Social Mobility among the French Noblesse in the Later Middle Ages.—«Past and Present», 1962, № 21; cp. J. Brelot. La noblesse du Comté de Bourgogne avant le XIV-e siècle.—«Mémoires de la société pour l'histoire du droit et des institutions des anciens pays bourguignons». Dijon, 1948—1949; G. Duby. Une enquête à poursuivre. La noblesse dans la France médiévale.—«Revue Historique», 1961, t. 226.

⁷ L. Verriest. Institutions médiévales. Conditions de biens et de personnes. Bruxelles, 1960; cp. P. Bonenfant et G. Despy. La Noblesse en Brabant aux XII-e — XIII-e siècles.—«Le Moyen Age», 1958, № 1—2.

⁸ K. V. Verner. Untersuchungen zur Frühzeit des Französischen Fürstentums.—«Die Welt als Geschichte», 1958—1960, Bd. 18—20.

⁹ L. Genicot. L'économie rurale namuroise au Bas Moyen Age, v. II. Les Hommes — La Noblesse. Louvain, 1959; *idem*. La Noblesse au Moyen âge dans l'ancienne «Francie». — «Annales. E. S. C.», 1962, № 1; *idem*. La Noblesse au XI siècle dans la région de Gembloux.—«Vierteljahrschrift für Soziale- und Wirtschaftsgeschichte», 1960, Bd. 44; *idem*. Sur l'origine de la noblesse namuroise.—«Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenes», 1952, v. 20; *idem*. La Noblesse.—«Comparative Studies in Society and History», 1962, v. V, № 2.

¹⁰ Fr. Wernli. Die Mittelalterliche

che Bauernfreiheit. Zürich, 1960.

¹¹ «Studien und Vorarbeiten zur Geschichte des grossfränkischen frühdeutschen Adels». Hrsg. G. Tellenbach. Freiburg, 1957; K. Schmid. Zur problematik von Familie, Sippe und Geschlecht.—«Zeitschrift für Geschichte des Oberrheins», 1957, Bd. 109; B. Sprandel. Der Merovingische Adel... Freiburg, 1957; A. Bergengruen. Adel und Grundherrschaft im Merovingereich. Wiesbaden, 1958; K. V. Verner. Op. cit.

¹² Th. Mayer. Mittelalterliche Studien. Lindau und Konstanz, 1960; «Aus Verfassungs- und Landgeschichte». — Festschrift zum 10. Geburtstag von Th. Mayer», Bd. I—II. Lindau — Konstanz, 1954—1955; H. Mitteis. Die Rechtsgeschichte und das Problem der historischen Kontinuität — «Abhandlungen der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin». Phil.—Hist. Klasse, 1947; *idem*. Formen der Adelherrschaft im Mittelalter.—«Gesammelte Abhandlungen». Weimar, 1957; H. Dannenbauer. Adel. Burg- und Herrschaft bei den Germanen.—«Historische Zeitschrift», 1941, Bd. 61; *idem*. Grundlagen der Mittelalterlichen Welt. Skizzen und Studien. Stuttgart, 1958; W. Schlesinger. Mitteldeutsche Beiträge zur deutsche Verfassungsgeschichte des Mittelalters, Bd. I—II. Göttingen, 1969; K. Bosl. Herrscher und Beherrschte im Deutschen Reich der 10—12. Jahrh. München, 1963.

¹³ H. Aubin. Die Frage der Historischen Kontinuität.—«Historische Zeitschrift», Bd. 168; cp. O. Hoefler. Kontinuitätsproblem.—«Historische Zeitschrift», Bd. 157; K. Bohner. Die Frage der Kontinuität zwischen Alter-

- tum und Mittelalter im Spiegel der Frankischen Funde.— «Trierer Zeitschrift», 1950, Bd. 82.
- ¹⁴ Марксистская точка зрения выражена в работах А. И. Неусыхина и его учеников.
- ¹⁵ См. G. Seeliger. Die soziale und politische Bedeutung..., S. 138.
- ¹⁶ Th. Mayer. Die Entstehung des «Modernen» Staates im Mittelalter und die freien Bauern.— «Zeitschrift für Rechtsgeschichte», Germ. Abteilung, Bd. 57, 1937; *idem.* Königtum und Gemeinfreiheit im frühen Mittelalter.— «Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters», 1943; *idem.* Die Königsfreien und der Staat des frühen Mittelalters.— «Das Problem der Freiheit in der Deutschen und Schweizerischen Geschichte. Lindau und Konstanz, 1953; *idem.* Bemerkungen und Nachträge zum Problem der freien Bauern.— «Zeitschrift für Würtemb. Landesgeschichte», 1954, 13; с небольшими изменениями эта работа опубликована в сб.: «Mittelalterliche Studien». Lindau — Konstanz, 1956.
- ¹⁷ F. Lütge. Die Agrarverfassung des frühen Mittelalters in Mitteldeutschen Raum, 1937.
- ¹⁸ K. S. Bader. Staat und Bauerntum im Deutschen Mittelalter.— «Adel und Bauern im Staat des Deutschen Mittelalters», 1942; *idem.* Das Problems der freien Bauern im Mittelalter.— Zeitschrift für Schweiz. Recht, N. F., Bd. 59; *idem.* Bauernrecht und Bauernfreiheit im späteren Mittelalter.— «Historische Zeitschrift», Bd. 61, 1941. Cp. K. Weller. Die freie Bauern in Schwaben.— «Zeitschrift für Rechtsgeschichte». Germ. Abteilung, 1934, Bd. 54; L. Hauptman, Colonus, Barschalk und Freiman.— «Wirtschaft und Kultur». Wien, 1939, F. Schmidt. Die freien bauerliche Eigengüter im Oberösterreich (1941).
- ¹⁹ K. Bost. Franken um 800. München, 1959.
- ²⁰ I. Bog. Dorfgemeinde, Freiheit und Unfreiheit in Franken (1936).
- ²¹ H. Dannenbauer. Die Freiheit im Karolingischen Heer.— «Festschrift zum 70. Geburtstag von Th. Mayer, Bd. I; *idem.* Adel, Burg und Herrschaft bei den Germanen.— «Herrschaft und Staat im Mittelalter». Darmstadt, 1956.
- ²² Более подробную трактовку см. в статье: M. A. Барг. Проблема крестьянской свободы в средние века.— В кн.: «История и историки». М., 1973.

Глава IV

- ¹ W. Abel. Bevölkerungsgang und Landwirtschaft im ausgehenden Mittelalter im Lichte der Preis- und Lohnbewegung.— «Schmollers Jahrbücher», 58, Jahrgang 1934; *idem.* Agrarkrisen und Agrarkonjunktur im Mitteleuropa vom 13. bis zum 19. Jahrhundert. Berlin, 1935; *idem.* Wachstumsschwankungen der Mitteleuropäischen Völker seit dem Mittelalter.— «Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik», Bd. 142, 1935; *idem.* Wüstungen und Preisfall im Spätmittelalterlichen Europa.— «Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik», Bd. 165, 1953; M. Postan. Revisions in Economic History: the 15th Century.— «The Economic History Review», 1939, vol. 9, № 2; *idem.* Some Economic Evidence of Declining Population in the Later Middle Ages.— «The Economic History Review», 1950, 2 ser., c. II/3; *idem.* Die wirtschaftlichen Grundlagen der mittelalterlichen Gesell-

- schaft.— «Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik», Bd. 166, 1954, H. 3; D. Saltmarsh. Plague and Economic Decline in England in the Later Middle Ages.— «The Cambridge Historical Journal», 1941, vol. VII, № 1; J. C. Russell. Late medieval Population Patterns.— «Speculum», 1945, vol. XX; *idem.* Demographic Pattern in History.— «Population Studies», 1948, vol. I, № 4; E. Perroy. A l'origine d'une économie contractée: Les crises du XIV^e siècle.— «Annales. E. S. C.», 1949, vol. IX, № 2; C. M. Cipolla. Revision in Economic History: the Trends in Italian Economic History in the Later Middle Ages.— «The Economic History Review», 1949, ser. 2, vol. II, № 2; K. F. Hel-leiner. Population Movement and agrarian Depression in the Later Middle Ages.— «The Canadian Journal of Economic and Political Science», 1943, vol. XV, № 3; *idem.* Europas Bevölkerung und Wirtschaft im späteren Mittelalter.— «Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung», 1954, Bd. LXII; Fr. Lütge. Das 14/15. Jahrhundert in der Sozial- und Wirtschaftsgeschichte.— «Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik», Bd. 162, 1950; R. Hilton. Y -a-t-il eu une crise générale de la féodalité?— «Annales. E. S. C.», 1951, № 1; H. Reincke. Bevölkerungsprobleme der Hansestädte.— «Hansische Geschichtshblätter», 1951, vol. LXX; E. Kelter. Das deutsche Wirtschaftsleben des 14. und 15. Jahrhunderts im Schatten der Pestepidemien.— «Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik», Bd. 165, 1953; J. Schreiner. Wages and Prices in England in the Later Mid-

- dle Ages.— «The Scandinavian Economic History Review», 1954, vol. II, № 2. Критику концепции «кризиса феодализма» см.: Е. А. Косминский. Основные проблемы западноевропейского феодализма в советской исторической науке.— «Труды историков СССР, подготовленные к X Международному конгрессу исторических наук в Риме». М., 1955; *его же.* Были ли XIV и XV века временем упадка европейской экономики? (По поводу доклада на X Международном конгрессе историков: «Европейская экономика в течение двух последних столетий средневековья»).— «Средние века», вып. X, 1957.
- ² Fr. Graus. Die erste Krise des Feudalismus.— «Zeitschrift für Geschichtswissenschaft», 1955, H. 4; cp. *idem.* Krise feudalismu v 14 století.— «Historicky Sbornik», 1953; M. Malowist. Zagadnienie kryzysu feudalizmu w XIV i XV w. w. swietle najnowszych badan.— «Kwartalnik Historyczny», 1953, LX, № 1.
- ³ Cp. F. E. Heckscher. Mercantilism.— «The Economic History Review», 1936, № 1, p. 44.
- ⁴ См. A. Lösch. Wirtschaftsschwankungen als Folge von Bevölkerungswellen.— «Schmollers Jahrbücher», 1936, Bd. LX, S. 551 ff.; *idem.* Population Cycles as a Cause of Economics Cycles.— «Quarterly Journal of Economics», 1936/37, Vol. II, p. 649 ff.; J. C. Russell. Demographic Pattern in History, p. 388. Cp. W. Abel. Wachstumsschwankungen der mitteleuropäischen Völker seit dem Mittelalter.— «Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik», Bd. 142, 1955, № 6, S. 670. G. Bothoul. Sur l'existence d'un mouvement cycli-

- que de longue durée dans la population.— «Congrès international de la population», vol. I. Paris, 1938, p. 63.
- ⁵ C. Couyers-Morrels. An Investigation and Theory concerning cycloperiodicity in vital rates and heirs possible relationship to meteorological and astrophysical cycles. См. интересный обзор этих концепций в докладе польского ученого Витольда Куля (Kula) на Парижском конгрессе историков.
- ⁶ «Если мы сопоставим изменения в динамике народонаселения с крупными поворотами в истории,— писал Рассел (Demographic Pattern in History, p. 388), мы обнаружим, что изменения в народонаселении наступают столетием или более раньше поворотов в истории. Таким образом, прецедент создают изменения в народонаселении». Русскому читателю эта концепция давно знакома по трудам М. Ковалевского. См., например, его «Экономический рост Европы до возникновения капиталистического хозяйства», т. I. М., 1898, стр. 8.
- ⁷ См. К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 23, стр. 645—646.
- ⁸ В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 1, стр. 476.
- ⁹ В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 2, стр. 169.
- ¹⁰ Как признает сам Абель, у него были предшественники. Отправной в этом отношении явилась работа венского географа Альфреда Грунда *Veränderungen der Topographie im Wiener Wald und Wiener Becken*.— «Geographische Abhandlungen», 1901, Bd. XIII, № 1. Однако можно указать и на предшественников Грунда. См. К. *Mehrtmann*. Die Agrarkrise im 14. Jahrhundert.— «Zeitschrift des Harzvereins für Geschichte und Altertumskunde», 31. Jahrgang, 1898.
- ¹¹ W. Abel. Agrarkrisen und Agrarkonjunktur in Mitteleuropa vom 13. bis zum 19. Jahrhundert, S. 11.
- ¹² Ibid., S. 16, 21, 26.
- ¹³ Ibid., S. 31.
- ¹⁴ W. Abel. Die Wüstungen des Ausgehenden Mittelalters. Zweite Auflage. Stuttgart, 1955 (первое издание — 1943 г.).
- ¹⁵ M. M. Postan. Revisions in Economic History: the 15th Century, p. 160 f; *idem*. Some Economic Evidence of Declining Population in the Later Middle Ages, p. 221; *idem*. The Economic Base of Medieval Society.— «XI-e Congrès International des Sciences Historiques. Rapports», 1950, p. 225—246; *idem*. The Age of Contraction.— «The Cambridge Economic History», vol. II, 1952, p. 191 ff. Ср. J. Schreiner. Op. cit., S. 61.
- ¹⁶ «IX-e Congrès International des Sciences Historiques. Rapports», 1950, Section III. Histoire Economique. Moyen âge. Rapport de M. M. Postan (The Economic Base of Medieval Society), p. 225 sq.; M. Molat, M. Postan, P. Johansen, A. Sapori, Ch. Verlinden. L'Economie Européenne aux deux derniers siècles du Moyen âge.— «Relazioni del X Congresso internazionale di scienza storica», vol. III. Storia del Medioevo», 1955, p. 657.
- ¹⁷ К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 4, стр. 143.
- ¹⁸ См. там же, стр. 177.
- ¹⁹ См. К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 25, ч. II, стр. 361.
- ²⁰ См. там же, стр. 364.
- ²¹ Может быть, стоило обратить внимание на тот факт, что Маркс на протяжении всей 47-й главы III тома «Капитала» ни разу не упоминает о «феодальной ренте», а говорит лишь о «земельной ренте» (Grundrente) в различных ее формах.
- ²² См. К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 25, ч. II, стр. 357, где барщина характеризуется как более примитивная, низкая форма земельной ренты.
- ²³ Ср. М. Bloch. La société féodale, t. II. Les classes et le gouvernement des hommes. Paris, 1940, p. 253.
- ²⁴ См. определение ее специфики: В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 3, стр. 183 и сл.
- ²⁵ Как известно, даже в период господства отработочной ренты в хозяйстве земледельца также производилась часть прибавочного продукта (натуральные и денежные платежи), однако несомненно, что решающая ее доля производилась в хозяйстве сеньора барщинным трудом.
- ²⁶ См. К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 25, ч. II, стр. 353.
- ²⁷ М. Bloch. Les caractères originaux de l'histoire rurale Française. Oslo, 1931, p. 131; Ср. R. Boutruche. Seigneurie et Féodalité. Paris, 1959, p. 114.
- ²⁸ См. К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 25, ч. II, стр. 356.
- ²⁹ Ср. Ph. Dollinger. L'évolution des classes rurales en Bavière. Paris, 1949, p. 371—372, 419.
- ³⁰ См. М. А. Барг. О так называемом кризисе феодализма в XIV—XV вв.— «Вопросы истории», 1960, № 8.
- ³¹ См. К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 25, ч. II, стр. 358: «Продуктовая рента предполагает более высокую культуру производства у непосредственного производителя, следовательно, более высокую ступень развития его труда и общества вообще...».
- ³² См. там же, стр. 359. Этим не отрицается наличие элементов разложения в феодальной структуре общества уже в данный период. Разумеется, больше всего они были обусловлены развитием города. Однако дело вовсе не в том, что якобы «нефеодальный» город разлагает феодальный строй деревни, а в том, что феодальный способ производства разлагается прежде всего в самом городе, и именно степень этого разложения уже определяется, насколько оно ускоряет и интенсифицирует аналогичные процессы в аграрных отношениях. К тому же разложение феодальных отношений на почве городской экономики — при всей важности этого факта — до поры до времени имеет лишь привходящее значение для феодальной структуры в целом. Решающие, с этой точки зрения, процессы можно вскрыть, только покинув пределы средневекового города.
- ³³ См. В. Köttschke. Allgemeine Wirtschaftsgeschichte des Mittelalters. Jena, 1924, S. 549.
- ³⁴ См. К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 23, стр. 729.
- ³⁵ Там же, прим. 192.
- ³⁶ См. К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 25, ч. II, стр. 362.
- ³⁷ См. К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 25, ч. II, стр. 371.
- ³⁸ См. К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 23, стр. 729.
- ³⁹ См. К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 25, ч. II, стр. 362.
- ⁴⁰ См. там же, стр. 364.
- ⁴¹ См. там же.
- ⁴² См. там же.
- ⁴³ См. там же, стр. 362.
- ⁴⁴ См. К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 23, стр. 728—729.
- ⁴⁵ Там же, стр. 729.
- ⁴⁶ См. замечание японского прогрессивного историка Такахаши (A Symptomish, p. 46): «Абсолютизм был не чем иным, как системой концентрированной власти, направ-

ленной на преодоление кризиса феодализма (?), проистекающего из краха сеньориальной системы».

⁴⁷ Ср. К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 23, стр. 729.

⁴⁸⁻⁴⁹ F. Pollock and F. W. Maitland. History of English Law, vol. 1. Cambridge, 1895, p. 127.

⁵⁰ J. Fortescue. De Laudibus Legum Angliae, 1537, p. 31.

⁵¹ См. К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 25, ч. II, стр. 355: «Доход земельного собственника, какое название ни давали бы ему..., является здесь той нормальной и господствующей формой, в которой непосредственно присваивается весь неоплаченный прибавочный труд...»

⁵² См. С. Д. Сказкин. Февдист Эрве и его учение о цензиве.— «Средние века», вып. I, 1942, стр. 187 и сл.; см. также: С. Д. Сказкин. Основные проблемы так называемого «второго издания крепостничества» в Средней и Восточной Европе.— «Вопросы истории», 1958, № 2.

⁵³ Представляется, что критерий для определения начала этой стадии, предложенный М. В. Нечкиной, имеет познавательное значение, выходящее за пределы России. См. ее статью: «О «восходящей» и «нисходящей» стадиях феодальной формации».— «Вопросы истории», 1958, № 7.

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

- Абель В. 82, 178—180, 186, 188, 190, 220, 222—224
Адамс Д. 54
Андерле О. 9, 217, 218
Арендт Х. 27
Арнульфинги 140
- Бадер К. 159, 160, 222
Балон Ж. 83, 97, 220
Барг М. А. 222, 225
Барраклоу Г. 9, 17, 217
Батталья Ф. де 145
Белов Г. фон 37—39, 43, 150—152
Бергенрюэн А. 83, 105—107, 133, 138, 164, 220, 221
Берр А. 11, 217
Бирд Ч. 14, 24
Блок М. 11, 12, 37, 44—50, 52, 54, 58, 68, 73—76, 78—80, 83, 85, 86, 89, 91, 92, 97, 107, 117—122, 124—126, 131—133, 137, 217, 219, 225
Бог И. 163, 222
Босков А. 9, 217
Босл К. 30, 37, 62, 63, 83, 97, 140, 146, 147, 155, 162, 219, 221, 222
Брайденбо К. 23, 218
Брело Ж. 116, 221
Бродель Ф. 9, 12, 17, 19—22, 26, 217, 218
Бруннер О. 37, 58—62, 83, 97, 140, 144, 219
Буленвилье А. 36, 149, 219
Буссар Ж. 82
Бутрюш Р. 67, 82, 83, 89—92,
- 97, 116, 119, 124, 126, 190, 220, 221, 225
- Вацц Г. 113
Вебер М. 27, 37, 49, 59, 143
Веллер К. 159, 160, 222
Вельфы 140
Вернер К. 125, 138, 148, 221
Веряли Ф. 83, 133, 164—171, 221
Веррье Л. 82, 97, 116, 123—129, 132, 138, 221
Вико Д. 37
Виндельбанд В. 8
Виттих В. 84, 114, 115, 150, 151, 156, 161
Воллаш И. 133, 138
Вольтер (Мари-Франсуа Аруэ) 36, 219
Вэн Вудворд К. 10
- Галилей Г. 21
Ганаль К. 163
Гансхоф Ф. 37, 63, 64, 219
Герар П. 44
Гизо Ф. 35
Гинце О. 37—43, 45, 49—53, 55, 58, 219
Граус Ф. 175, 223
Григорий Турский 95, 138
Грунд А. 221
Гутман Ф. 150, 151, 161
- Данненбауэр Г. 97, 101, 140, 147, 155, 164—166, 168—170, 221, 222
Декарт Р. 21
Делеаж А. 76—79, 107, 220

- Дильтей В. 8
 Дион Р. 107
 Доллингер Ф. 82, 83, 225
 Дош А. 73, 78, 85, 88, 101, 104, 115, 151, 161
 Дюби Ж. 82, 83, 91, 92, 97, 109, 116, 220, 221
 Дюбле А. 116, 120, 221
 Женико Л. 82, 116, 127—132, 221
 Зелигер Г. 150—152, 222
 Инама-Штернегг К. 150—151
 Иогансен П. 189, 224
 Кан А. С. 6
 Канман В. 9
 Капетинги 125
 Карл Великий 43, 57, 66, 88, 156, 162
 Карл Мартелл 64
 Каро Г. 150—152, 169
 Каролинги 118, 123, 126, 139, 151, 181
 Кельтер Э. 191, 192, 223
 Кетчке Р. 101, 225
 Кнапп Г. 115
 Ковалевский М. М. 224
 Кокрен Т. 24
 Косминский Е. А. 223
 Кронн Х. 49, 50, 219
 Кулборн Р. 51, 52
 Куля В. 224
 Лампрехт К. 151
 Ланге Ф. 178
 Лебрюн П. 9, 217
 Ленин В. И. 35, 178, 217, 218, 224, 225
 Лэслитт П. 25
 Люте Ф. 82, 83, 97—105, 154, 180—184, 186, 190, 192, 220, 222, 223
 Лятуш Д. 83, 93—97, 220
 Майер Т. 37, 83, 97, 101, 123, 137, 140, 141, 153—155, 157—161, 165—169, 171, 221, 222
 Маркс К. 30, 35, 94, 178, 195, 197, 198, 200, 203—207, 209, 211, 224—226
 Маурер Г. фон 113
 Мейтцен А. 107
 Меролингги 96, 123, 144
 Миттайс Г. 41—43, 50—52, 58, 133, 140—145, 147, 216, 221
 Молла М. 189, 224
 Монгескье Ш. 36, 219
 Мэтланд Ф. В. 56, 226
 Неусыхин А. И. 173, 221
 Нефбург М. де 116, 220
 Нечкина М. В. 226
 Ницше Ф. 9
 Ньютон И. 21
 Обен Г. 142, 221
 Палмер Р. 24
 Перрен Ш. 82—91, 97, 220
 Перруа Э. 82, 116, 121, 190, 221, 223
 Пининиды 135
 Питц Э. 29, 218
 Пламб Д. 17, 218
 Поппер К. 24, 218
 Постап М. М. 82, 83, 184—189, 192, 222, 224
 Поттер Д. 9, 25, 26, 217, 218
 Ранке Т. 9, 22, 23, 31
 Рассел Д. 188, 223, 224
 Рикардо Д. 179
 Риккерт Г. 8, 31
 Роберт Сильный 125
 Рот П. 43, 113, 219
 Савиньи Ф. 27
 Салтмарш Д. 191, 222
 Сапори А. 189, 224
 Сестан Э. 31, 32, 218
 Сибом Ф. 54
 Снейс Э. Ж. 59
 Сказкин С. Д. 226
 Слехер ван Ват Б. 220
 Стентон Ф. 37, 63, 64, 219
 Стефенсон К. 37, 63, 219
 Страйер И. 54, 56, 57
 Сэ А. 76
 Тайлер У. 196
 Такахаси 225
 Тацит, Гай Корнелий 84, 98, 100, 103, 113, 114, 127, 143, 147, 164, 165, 171
 Телленбах Г. 115, 133—140
 Тернер Д. 14, 24, 218
 Уизи Г. 217
 Февр Л. 11, 217
 Ферлинден Ш. 189, 224
 Фешер П. 116, 220
 Финберг Г. 82
 Флекенштейн У. 133
 Флякк Ж. 44
 Фольмер Ф. 133, 138
 Фортескью Д. 207, 210, 226
 Фоссье Р. 82
 Фридрих I 160
 Фридрих II 160
 Фуггер Г. 183
 Фуркен Г. 82
 Фюстель де Куланж Н.-Д. 54, 76, 78, 87, 93—95, 108, 163
 Хейзинга И. 23, 218
 Хекстер Д. 13, 24, 33, 218
 Хекшер Ф. 185, 223
 Хеллейнер К. 190, 191, 223
 Хилтон Р. 192—195, 223
 Хильперик 87, 107
 Хлодвиг 95, 144
 Хлотарь II 135
 Хойт Р. С. 63—67, 219
 Хоскинс У. 82
 Черняк Е. Б. 6
 Чжоу 52, 56
 Чингисхан 36
 Чистозвонов А. Н. 6
 Шидер Т. 11, 18, 30, 32, 214, 218
 Шлезингер А. 24, 218
 Шлезингер В. 140, 147, 155, 221
 Шмидт К. 133, 138, 221
 Шпенглер О. 9
 Шпрандель Р. 133, 137—139, 164, 221
 Шрейнер И. 185, 192, 223, 224
 Штауфены 160
 Эйхгорн К.-Ф. 27, 113
 Энгельс Ф. 35, 75, 224—226
 Этихоны 140
 Юлий Цезарь, Гай 84, 95, 100, 113, 146, 147, 164
 Antoni C. 217
 Arnoldi G. 219
 Bellah R. N. 218
 Benson L. 218
 Blackston K. 218
 Bohner K. 221
 Bonenfant P. 221
 Bothoul G. 223
 Callot E. 218
 Cipolla C. M. 223
 Couyers-Morrels C. 224
 Despy G. 221
 Goldthrope J. 218
 Hauptman L. 222
 Heussi K. 217
 Hoeffler O. 221
 Holt R. T. 218
 Iggers G. G. 218
 Jacobs N. 218
 Lefebvre G. 219
 Lerner D. 218
 Littré E. 219
 Lösch A. 223
 Malowist M. 223
 Mehrmann K. 224
 Mills C. W. 218
 Pollock F. 226
 Schmidt F. 222
 Thrupp L. 217
 Troeltsch E. 217
 Tundor G. 218

ОГЛАВЛЕНИЕ

ОТ АВТОРА	5
ВВЕДЕНИЕ. БОРЬБА ТЕНДЕНЦИЙ В СОВРЕМЕННОЙ БУРЖУАЗ- НОЙ ИСТОРИОГРАФИИ (ВОПРОСЫ МЕТОДА)	7
ГЛАВА I. СОВРЕМЕННЫЕ БУРЖУАЗНЫЕ КОНЦЕПЦИИ ФЕОДА- ЛИЗМА	34
ГЛАВА II. ПРОБЛЕМЫ ГЕНЕЗИСА СРЕДНЕВЕКОВОЙ ВОТЧИНЫ	71
ГЛАВА III. ПРОБЛЕМА СОЦИАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ ЗАПАДНО- ЕВРОПЕЙСКОГО ОБЩЕСТВА РАННЕГО СРЕДНЕВЕ- КОВЬЯ	111
ГЛАВА IV. О ТАК НАЗЫВАЕМОМ «КРИЗИСЕ ФЕОДАЛИЗМА» В XIV—XV ВВ.	175
ПРИМЕЧАНИЯ	217
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН	227

МИХАИЛ АБРАМОВИЧ БАРГ

Проблемы социальной истории
в освещении современной западной медиевистики

*Утверждено к печати
Институтом всеобщей истории Академии наук СССР*

Редактор издательства Ф. Н. Арский
Художественный редактор Ю. П. Трапакон
Художник А. С. Куценко
Технический редактор В. В. Волкова

Сдано в набор 9/II 1973 г. Подписано к печати 12/VI 1973 г.
Формат 84×108¹/₃₂. Бумага № 2.
Усл. печ. л. 12,6. Уч.-изд. л. 12,4.
Тираж 2450 экз. Т-08356. Тип. зак. 1708.
Цена 74 коп.

Издательство «Наука», 103717 ГСП,
Москва, К-62, Подосенский пер., 21
2-я типография издательства «Наука», 121099,
Москва, Г-99, Шубинский пер., 10

НБ ПНУС



352566

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»
ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОНТОРА «АКАДЕМКНИГА»

ИМЕЮТСЯ В ПРОДАЖЕ КНИГИ:

- Беляевская И. А. Буржуазный реформизм и США (1900—1914), 1968. 415 стр. 1 р. 91 к.
- Виноградов В. Н. У истоков лейбористской партии (1889—1900). История английского рабочего движения в новое время. 1965. 447 стр. 1 р. 66 к.
- Германский империализм и милитаризм. Сборник статей. 1965. 363 стр. 1 р. 67 к.
- Германское рабочее движение в новое время. Сборник статей и материалов. 1962. 407 стр. 1 р. 77 к.
- Головачев Ф. Ф. Рабочее движение и социал-демократия Германии в годы первой мировой войны (август 1914 — октябрь 1918 г.). 1960. 566 стр. 30 к.
- Документы по истории внешней политики Франции (1547—1548). 1963. 395 стр. 2 р. 10 к.
- Ерофеев Н. А. Народная эмиграция и классовая борьба в Англии 1825—1850 гг. (История английского рабочего движения в новое время). 1962. 536 стр. 2 р. 02 к.
- Западная Европа — милитаризм и разоружение. (Серия «Политика государств и разоружение»). 1966. 156 стр. 47 к.
- Кремер И. С. Германский пролетариат в борьбе за мир с Советской Россией (ноябрь 1917 — февраль 1918), 1963. 152 стр. 49 к.
- Рабочее движение в скандинавских странах и Финляндии. 1965. 260 стр. 83 к.

Для получения книг почтой заказы просим направлять по адресу:

117463 МОСКВА, В-463, Мичуринский проспект, 12, магазин «Книга — почтой» Центральной конторы «Академкнига»;
197110 ЛЕНИНГРАД, П-110, Петрозаводская ул., 7, магазин «Книга — почтой» Северо-Западной конторы «Академкнига» или в ближайшие магазины «Академкнига».

Адреса магазинов «Академкнига»:

480391 Алма-Ата, ул. Фурманова, 91/97, 370005 Баку, ул. Джапаридзе, 13, 320005 Днепрпетровск, проспект Гагарина, 24, 734001 Душанбе, проспект Ленина, 95, 664033 Иркутск, 33, ул. Лермонтова, 303, 252030 Киев, ул. Ленина, 42, 277012 Кишинев, ул. Пушкина, 31, 443002 Куйбышев, проспект Ленина, 2, 192104 Ленинград, Д-120, Литейный проспект, 57, 199164 Ленинград, Менделеевская линия, 1, 199004 Ленинград, 9 линия, 16, 103009 Москва, ул. Горького, 8, 117312 Москва, ул. Вавилова 55/7, 630090 Новосибирск, Академгородок, Морской проспект, 22, 630076 Новосибирск, 91, Красный проспект, 51, 620151 Свердловск, ул. Мамина-Сибиряка, 137, 700029 Ташкент, Л-29, ул. Ленина, 73, 700100 Ташкент, ул. Шота Руставели, 43, 634050 Томск, наб. реки Ушайки, 18, 450075 Уфа, Коммунистическая ул., 49, 450075 Уфа, проспект Октября, 129, 720001 Фрунзе, бульвар Дзержинского, 42, 310003 Харьков, Уфимский пер., 4/6.